

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК
парадигма

Лидия
Аверьянова
VOX HUMANA



СОБРАНИЕ
СТИХОТВОРЕНИЙ

Лидия Ивановна Аверьянова
М. М. Павлова
Vox Humana. Собрание стихотворений
Серия «Серебряный век. Паралипоменон»

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4964638
Аверьянова Л.И. Vox Humana: Собрание стихотворений : Водолей; Москва; 2011
ISBN 978-5-91763-085-4

Аннотация

Лидия Ивановна Аверьянова (1905–1942) – талантливая поэтесса и переводчица, автор пяти не вышедших в свет сборников стихов, человек драматической и во многом загадочной судьбы. Лирика Л. Аверьяновой вызвала сочувственный интерес у Ф. Сологуба, А. Ахматовой, В. Набокова, Г. Струве и др. Наиболее ценная часть ее литературного наследия – «Стихи о Петербурге»; в 1937 г. они обрели статус «стихов-эмигрантов» и посмертно, в извлечениях, публиковались за рубежом под присвоенным автору псевдонимом А. Лисицкая.

Поэтическое творчество Л. Аверьяновой представлено в книге во всей возможной полноте, большая часть стихотворений печатается впервые. В основу издания легли материалы из фондов Пушкинского Дома (СПб.) и Гуверовского института (США).

Содержание

Из книги VOX HUMANA	8
1	9
2	10
3	11
4	12
5	13
6	14
7	15
8	16
<9>	17
<10>	18
<11>	19
Вторая Москва	20
Седьмое ноября	21
Джон Рид	22
Три узла	23
Моя страна	24
Спасские часы	25
Неровный ветер, смутный свет	26
Набат	27
Дата	28
Рабфаковцам	29
1	29
Вторая Москва	30
«Москва кабацкая»	31
Старая Москва	32
Что шуметь, о гибели жалея	33
Ты опять со мной, моя Россия	34
Ларисса Рейснер	35
2	36
Весна	37
Парижская Коммуна	38
1	38
2	38
3	39
Стихи о Китае	41
1	41
2	41
3	42
Первое мая	43
Стихи о Кронштадте	44
Порт	45
Ленинград	46
Уже осыпалась весна	47
Июль	48
Феликс	49

[Часы на Кремле]	50
Страна Советов	51
Опрокинутый шеврон	52
Акростих	53
Скрытый акростих	54
Колчан	55
Знаешь, в дни, когда я от бессилья	56
У тебя глаза – теплеющие страны	57
Я сказочно богата ожиданием	58
Нет, клекот дней не чувствовать острее	59
Крылом любви приподнята над всеми	60
О, в складках всё одной мечты	61
И я справляю свое Рождество	62
Акростих	63
Я помню, девочкой, случайно	64
Дни	65
Сонет-акростих	66
Греческая церковь	67
Сонет-акростих	68
Я знаю дом: и я когда-то	69
Акростих	70
О, милая любовь моя	71
Авиньонское мое плененье	72
Серебряная Рака	73
Я не позволю – нет, неверно	73
I	74
Других стихов достоин Ты	74
Дворец был Мраморным – и впору	74
За то, что не порвать с Невой	75
Фельтен для Тебя построил здание	75
Расставаться с тобой я учусь	76
Летний сад	76
Как Гумилев – на львиную охоту	77
Когда всё проиграно, даже Твой	77
II	78
Биржа	78
Владимирский собор чудесно княжит	78
На Марсовом широковейном поле	78
Так. Желтизна блестит в листве	79
Лает радио на углу	79
Князь-Владимирский собор	80
I	80
II	80
Город воздуха, город туманов	81
...И ты, между крыльев заката	81
На Охтенском мосту	82
Михайловский замок	82
Адмиралтейство	83
1	83

	2	84
	Адмиралтейство	84
	Фельтен	85
	Три решетки	86
	Смольный: I	86
	Когда на выпретенные стены	87
III		88
	Лепным прибоем, пеной в просинь	88
	Еще не выбелен весной	88
	Отдай обратно мне мои слова	88
	Какое солнце встало, озарив	89
	На берега Твоей Невы	89
	Павловск	90
	Сфинксы	90
	Ты целуешь в губы жарко	90
	Блаженство темное мое	91
	Но неужели, город, ты	91
	Когда, в тумане розоватом	92
	Крюков канал	93
	Меньшиковский дворец	93
	Наводнение	94
	Кунсткамера	94
	Песня	95
	Корабль	95
	Дом Брандта	96
	С тех пор, как я ушла по холоду и снегу	96
	Арка	97
	Смольный: II	97
	Князь-Владимирский собор. II	98
	Бегут трамваи – стадо красных серн	99
	Струится снег, как ровный белый стих	99
	Петропавловская крепость	100
	I	100
	II	100
	III	100
	Раскрыты губы Эвридики	101
	Снега легкую корону	101
	Академия Наук	101
	Академия Наук	102
	Лазаревское кладбище	102
	Синеют Невы, плавно обтекая	103
	Петром, Петра и о Петре	103
	Памяти кн. В. Н. Голицына	104
	Ропша	105
	Приорат	105
	Дача Бадмаева	106
Пряничный солдат		107
Сонет-акrostих		107
1. Свиносовхоз		108

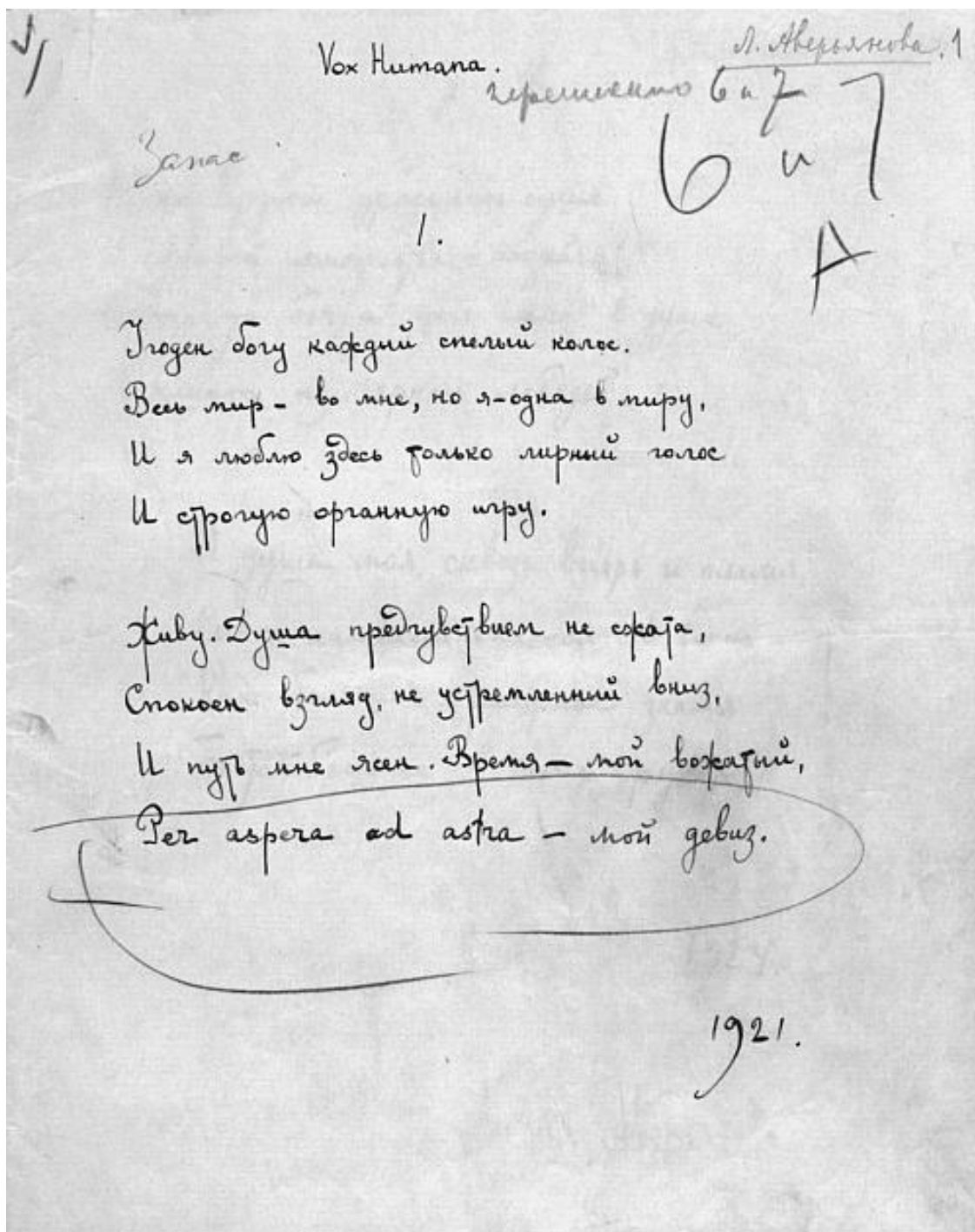
2. Центрархив	109
3. Усыпальница	110
4. Иоанн Антонович	111
5. Павел Петрович	112
6. Анна Иоанновна	113
7. Три Алексея	114
8. Софья Алексеевна	115
9. Ледяной дом	116
10. Сосед Господь	117
Дополнение к книге	118
Колокол св. Сампсония	118
У костюмерной мастерской	119
Сонет	120
Превыше всех меня любил	121
Россия. Нет такого слова	122
Из стихотворений, посвященных Л.Л. Ракову	123
Ты Август мой! Тебя дала мне осень	123
Не услышу твой нежный смех	124
Стой. В зеркале вижу Тебя	125
К вискам приливает кровь	126
Тот неурочный зимний сад	127
Твой голос? Не бойся: не вздумаю я	128
Никогда не бывало. Не будет. Нет	129
Всё в жизни – от будущего тень	130
Стихотворения из писем к А. И. Корсуну	131
Стриж	131
Сонет	132
Стихотворения, не включенные в сборники	133
Простор стихающей Невы	133
En automne	134
Высокий звон и говор птичий	135
Мне легла не большая дорога	136
Зимой не бывает горлиц	137
Сестрам Запада	138
Песня о Джанкое	139
Нефтепровод	141
Вернись, страна, в высокий город твой	142
Приложения	143
Приложение 1	143
Запись о «вторнике» «неоклассиков» 16 ноября 1926 года	144
Приложение 2	148
Из отчетов и переписки ВОКС'а	150
<1>	150
<2>	150
<3>	152
Конец ознакомительного фрагмента.	153

Лидия Аверьянова

Vox Humana: Собрание стихотворений



Из книги VOX HUMANA



1

Угоден богу каждый спелый колос.
Весь мир – во мне, но я – одна в миру.
И я люблю здесь только лирный голос
И строгую органную игру.

Живу. Душа предчувствием не сжата.
Спокоен взгляд, не устремленный вниз,
И путь мне ясен, время мой вожатый,
Per aspera ad astra – мой девиз.

1921

2

По имени и другом назови.
Я – как и ты – в миру благословенна:
Не манит рай и не страшит геенна
Того, чья жизнь проходит без любви.

Пусть, сквозь двойное зимнее стекло,
Так глух и нежен дальний звон к вечерне —
Ни брачной ризы, ни венца из терний
Нас никогда желанье не влекло.

Земным не опаленные огнем
(Раздумья – много, счастья – ни обола),
К семи ступеням божьего престола
Мы нищими, но мудрыми придем.

1922

3

Щит от мира, колыбель поэта,
Родина пилигримов любви.
Одиночество! Ты – хлеб ответа
На молитвы жадные мои.

День и ночь молилась о разлуке:
Весть была, что дорог мне жених...
Так устали складываться руки...
Даже лира тяжела для них.

Разве жизнь – не легче и безбольней.
И сандалий не шадит песок? —
Словно лестница на колокольню.
Путь мой темен, шаток – и высок.

1923

4

Матерь Божья Часу безответна:
Тихо судьбы шьет ее игла...
Вот, на землю тенью неprimетной
Молодая жизнь моя легла.

... Может, я затем и приходила
В мир: учуять радость и покой,
И сердца – душистые кадила —
Легкою раскачивать рукой.

1923

5

Неотвратимо, неизбежно.
От всех распахнутых дверей
Меня уводит ветер снежный
Навстречу гибели моей.

Умы – в бреду сердца – лукавы.
Извечно спутаны пути.
Ни мира, ни любви, ни славы
Мне в целой жизни не найти.

Сквозь годы ужаса и плена
Провижу, смутно – жребий мой...
– О, господи, давно колена
Я не склоняла пред тобой!

1924

6

Снежный ветер запекает в ставни,
Медный звон колышет ворота...
Друг старинный, недруг мой недавний,
Вот – я здесь, печальна и чиста.

Ни себя не знала, ни любви,
Но от сердца я приемлю новь,
И чужда тяжелой скифской крови
Легкая как марево любовь.

Жизнь – проста, и слово неизменно:
Все пути приводят к одному...
Мне не снилось стать своей и пленной
В этом смертью раненном дому.

1924

7

Верно, сердцем уродилась суше
И суровой множества людей:
Оттого-то бог и дал мне в души
Лучшего из черных лебедей.

И душа моя, сквозь вихрь и пламя,
Сквозь напевный колокол в веках —
Как большое траурное знамя
Бьется бешено в твоих руках.

1924

8

Что лирика? Быть может, сотый
Ее оценит и поймет:
Здесь сердца дрогнувшие соты
Хранят любви старинный мед.

Что слава? Первый между ними.
Ничтожный – как дитя в гробу
Из пыли медленно поднимет
Поэта хрупкую судьбу.

Что книга? Редким береженный
Ларец с прерывной нитью строк.
Последним служкою зажженной
Кадилаицы душистый вздрог.

1924

<9>

Он сказал мне: «Видишь, ты чужая
Петербургской пламенной судьбе.
Бурным гневом медленно сгорая,
Этот город вспомнит о тебе».

И еще сказал он: «Накануне
Лучших лет училась ты любви,
И как только красный ветер дунет —
Разлетятся ангелы твои».

И закончил: «Маленькая, кто ты.
Чтобы за руку я взял, любя:
Посмотри, какою позолотой
Наша слава ляжет на тебя».

<1923>

<10>

Вставали дни, дряхлел и падал Рим,
Росли названия славы и свободы,
Но с византийским именем твоим
Связала я девические годы.

Всё глубже раны варварским мечом,
Но плещет имя крыльями покоя,
И хорошо войти в прохладный дом
От звона стрел, от пламенного зноя.

Легки, как лани, стрелки на часах,
Седает прядь, журчат года глухие,
И медленно качается в веках
Дарохранительница – Византия.
<1923>

<11>

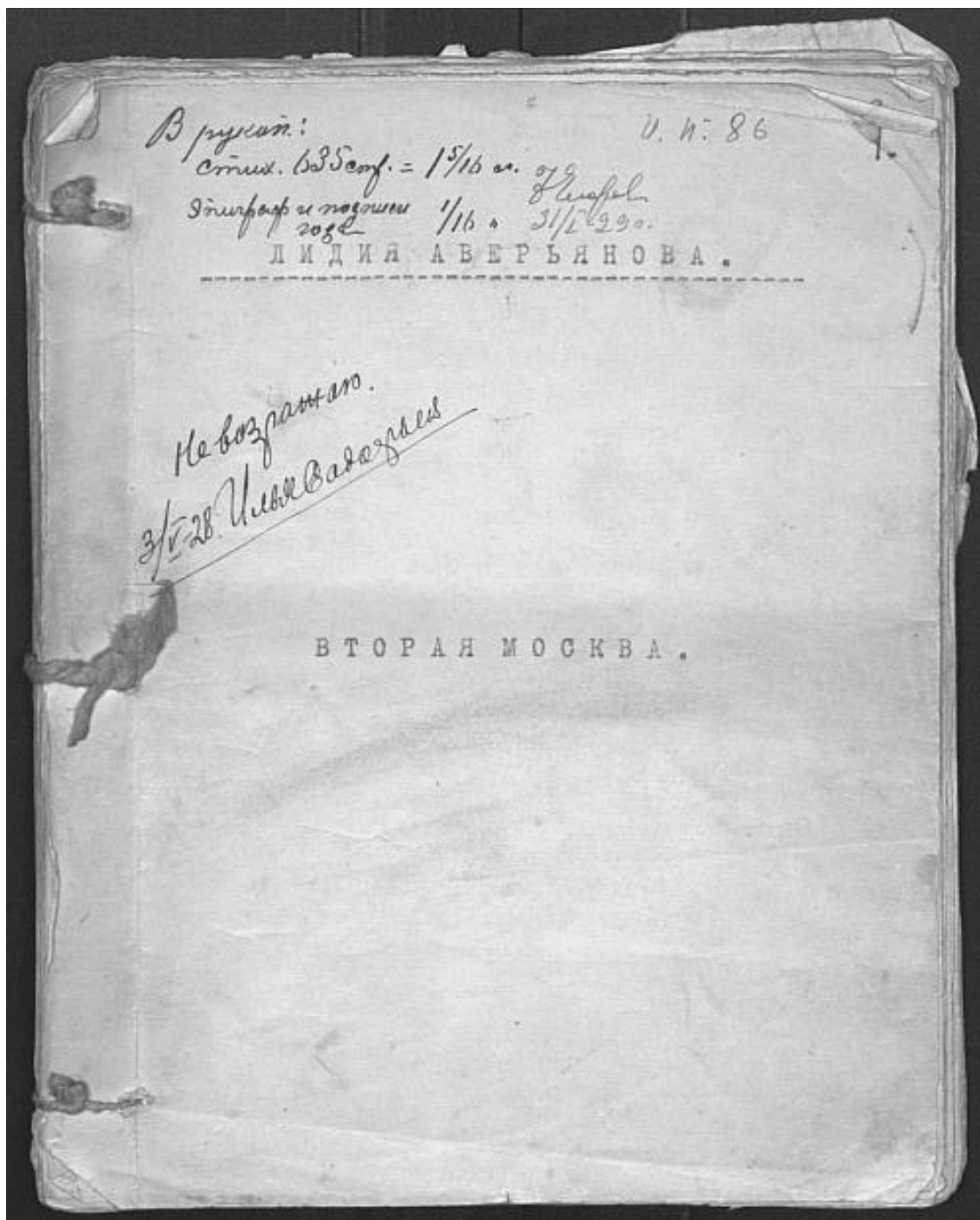
... И снова затворилась дверь
Твоей тоски, твоей свободы.
Терпенье, улицы и годы
Шагами медленными мерь...

Но не безумствуй, не кляни —
Когда-нибудь из темной дали
Придет и он, твоих сандалий
Достойный развязать ремни.

Начало 1920-х гг.

Вторая Москва

Товарищу, назвавшему себя АЛЕКСАНДРОМ ФОКИНЫМ на
пути Ростов/Дон – Москва, 2 сентября 1924 года



Седьмое ноября

Червонным золотом горит Москва.
И – крылья алой лебединой стаи —
Знамена плещут и шуршат слова,
Всемирной новью пьяно зацветая.

Когда б он встать, когда б он видеть мог,
Едва раздвинув стены мавзолея,
Как с каждым годом неизбежной срок
Земным плодам, что он с любовью сеял.

Не призрак по Европе – плоть идет
Широкоплечей силой, злой и голой. —
Звени, звени сквозь вычурный фокстрот,
Ближайших лет простая Карманьола!

1924

Джон Рид

Хорошо в свинцовой колыбели
Отдыхать под Красною стеной:
Не пришлец ты был здесь на неделе.
А товарищ сильный и родной.

Полюбил наш бурный скифский берег
И в тифозном, медленном бреду
Ты уже, над картой двух Америк,
Смутно видел красную звезду.

Ничего, что мнем твои страницы,
В заскорузлых пальцах теребя:
В крепком сердце самой вещей птицы
Наша память пестует тебя.

Золотой ордою комсомолья
Снова повесть будет прочтена,
Как терзалась родовою болью
Десять дней огромная страна.

С этой книгой станут наши дети,
Обновленной верные земле,
Под тяжелой славою столетий —
Третьей стражей в мировом Кремле.

1924

Три узла

В память лучших, три узла тугие
Завяжи на нити золотой.
Вот какою стала ты, Россия:
Самой крепкой, стройной и простой.

Оглянись на путь большой и странный,
Ни одной не выпавший стране:
К воле плыл он, первенец желанный,
Стенька Разин в расписном челне.

И еще не отзвенело слово
И не стихла волжская вода,
Как мужицкой славе Пугачева
Поклонились в пояс города.

А недавний, разве он – не сын твой,
Тот, кто встал над омутом Москвы,
Кто тебе кровавую косынку
Повязал вокруг буйной головы.

Так греми же праведной Европе
Комсомольским хохотом в лицо:
Слишком трудно стаяй ржавых копий
Пошатнуть кремлевское крыльцо.

1924

Моя страна

Что мне посох, если насмерть ранен
Бредом я, и песнь моя хмельна:
Ведь кругом от грани и до грани —
Алым маком зацвела страна.

Широки поля твои, Россия,
Колокольни тонкие остры —
И горят, горят в глаза сухие
Неуемным пламенем костры.

Ах, зови, звени, пылай – доколе
Не придет орда сыновних рук
Медный голос этих колоколен
Перелить в густой машинный стук? —

И пока любовь моя, скитаясь,
Горько чует верную тропу —
Стой, тихонько на ветру качаясь,
Лучший колос в мировом снопу.

1924

Спасские часы

Не глухое былье и не лобное место под теми.
Что когда-то певали – и божий нам славили страх.
Слушай, стоило жить, чтоб узнать наше бурное время,
Наше острое время на старых кремлевских часах.

Здесь у царских саней, надрываясь, скрипели полозья
И на башенный голос послушно вставала заря.
Но проходят года – и тяжелые зреют колосья
Сквозь суровые зимы, и весны, и дни Октября.

А Европа в петле, а Америка – в пытке, и гулко
По издерганным нервам ударил Московский набат. —
Да, желанною целью – за сетью кривых переулков —
Пилигримом свободы когда-нибудь станет Арбат.

Пять лучей не сочтем, как нагнется над миром комета,
Заметая обломки в костер, а часы на Кремле
Широко пропоют в наступившее красное лето
Колокольною песней торжественный полдень земле.

1924

Неровный ветер, смутный свет

Неровный ветер, смутный свет.
Знамен внезапное веселье —
И стойкий город на Неве
Качнулся красной колыбелью.

Тогда невиданной зарей
Над золотыми куполами, —
Москва, в тяжелый полдень твой
Вошло ликующее пламя.

И над тревогою Кремля,
Над мертвым сном Замоскворечья,
В просторы, в просеки, в поля
Мелькнул и канул вольный кречет.

Нам мнилось, пули счет сведут —
И пулями была расплата.
Горсть неприкрашенных минут
Рвалась столетьем циферблата...

Не голосом печальных книг
Расторгнутые трогать цепи:
Мы соты – солнечные дни —
На творческом досуге лепим.

Но поступь – тверже, глаз – острей.
И, за вожатыми словами.
Ступени медных Октябрей
Хранит размашистая память.

И город, пестовавший весть,
Еще хранит следы глухие,
Как билась судорожно здесь
В капкане времени Россия.

1925

Набат

Не раскольница в огненном стонет плену —
Красный ветер качает большую страну;

Красный ветер метет озаренную пыль, —
В самых дальних степях полыхает ковыль.

Нам дремучей любви не дано превозмочь.
Любо кинуться вместе в мохнатую ночь —

И летим, наклоняясь в скрипящем седле,
По изодранной, пламенной, гулкой земле.

Я не знаю, зачем, и не знаю, куда, —
Только слово «товарищ» мне хлеб и вода,

Только зарево пляшущим дразнит кольцом,
Только дым пеленает и нежит лицо.

Много верных встает в опаленной траве,
Но не каждый знамена крепил на Москве,

И не каждому выпал обугленный клад —
Слышать ленинский клич сквозь московский набат.

1925

Дата

Еще мы помним четкий взмах руки.
Вожатый голос с пламенной трибуны....
Вот почему заводские гудки —
В мохнатой мгле натянутые струны.

Еще горят заветные слова.
Как и при жизни лучшие горели.
Но леденеет медленно Нева
В своей большой гранитной колыбели:

Но мерной дробью не стучит станок.
И темногрудые котлы не дышат:
Так самый первый, самый горький срок.
На пленном Западе острее слышен.

И дата смерти, как тугая нить,
Связует страны с неостывшим делом:
Нам бьют в глаза московские огни,
Нам красный флаг захлестывает тело.

1925

Рабфаковцам

1

Оттого ты упорно заносишь науку в тетрадь.
Оттого ты сумел перелистывать плотные книги.
Что когда-то ходил города, словно ягоды, брать,
Что когда-то усталость в подхваченном плавилась крике.

Ты качался в седле, измеряя винтовкой страну,
Знаешь запах земли и смертельную речь пулемета,
А из жизни запомнил веселую повесть одну:
Как малиновый флаг был иглою рабочею сметан.

Ты стрелой отозвался на бурный Кремлевский набат,
Ты широкою памятью предан железным страницам. —
Если сорваны нити с гудящего вестью столба,
Эту весть разнесут красногрудые легкие птицы.

Будем только вперед неуклонно и просто смотреть:
Нарастают, звенят напоенные славою годы,
И тускнеет, дрожа, колокольная в воздухе медь,
И стальное весло рассекает зацветшую воду.

1925

Вторая Москва

Ах, тебя ль обратной дорогой
И путем окольным обойду! —
Всё растёт привычная тревога
В колокольном, каменном саду.

Череди далеких новолуний
Слышен плеск уже окрепших крыл. —
Старый город, ты ли накануне
Башнями о боге говорил;

Во хмелю, блаженный и увечный,
Припадал к соборному кресту,
Золотым своим Замоскворечьем
В синюю тянулся пустоту,

Царской плетью хлестанный до крови,
Лишь веригами звенел в пыли.....
А теперь ты — в памяти и слове —
Красный угол дрогнувшей земли.

1925

«Москва кабацкая»

Звон колокольный, звон неровный
Над затуманенной Москвой
И шелест яблонь подмосковных
Сквозь муть, и посвист, и запой.

И, словно горький сад осенний,
Выветриваясь и гния,
Мне открывается, Есенин,
Москва тяжелая твоя:

Недобрый хмель с полынью смешан,
Тоска дорогою легла....
Но всё размеренней, всё реже
У нас звучат колокола:

Нас, младших, солнце в лоб целует
И ломится от нови клеть....
А ты – ты мог Москву Вторую
В Москве Кабацкой проглядеть!

Пусть сердце-ключ на дне стакана —
Ржавеет медленно, и пусть
Тебя из проруби стеклянной
Зовет утраченная Русь. —

Не вековая тронет слава
Страницы гибели твоей:
Так тающий, медвяный саван
С высоких облетит ветвей;

Так наглухо задунет память.
Проводит воронье, кружа,
С последними колоколами —
Есенина неверный шаг.

1925

Старая Москва

Едва вступив в широкий круг свободы.
Страна, как колос, солнцем налита,
Как жернова, перевернулись годы. —
Моя Москва, – и ты уже не та:

Пришла пора – недаром в полдень сирий
Добром народным наливалась клеть —
Рублем чеканным о прилавков мира
Раскатисто и буйно зазвенеть.

И вот крутая, новая дорога,
Ложась, сметает полусгнивший дом. —
Москва-часовня на ладони бога,
Москва, годам врученная на слом!

Ты помнишь день, когда, не чуя страха,
Мозолистая шарила рука —
За ситцевою лучшею рубахой
На самом дне большого сундука.

А там, вверху, с глухим и древним граем
Зловещее кружило воронье
И медь рвалась, отрывисто скликая,
Как на беду, на торжище свое.

Но празднично молчит Смоленский рынок.
Через плечо – гармошка на тесьме —
И мать крестила, на прощанье, сына,
Ходынским полем называя смерть.

1926

Что шуметь, о гибели жалея

Что шуметь, о гибели жалея,
Расточать надуманную грусть:
Нет, не смерть взяла от нас Сергея,
А его бревенчатая Русь:

Верно видел он сквозь ужас древний,
Те простые мерные года —
Как железом обрастет деревня,
Как взойдут на пашнях города.

Вправе мы не помнить об уроне,
Но стереть поднимется ль рука:
Он с другой Россией похоронен —
И земля да будет им легка.

1926

Ты опять со мной, моя Россия

Ты опять со мной, моя Россия.
Лучшей песней миру вручена. —
Но бедны слова мои сухие.
Широка московская страна.

Ах, по картам, в строках, меж строками
Мне ль учить такой большой урок. —
Вот опять перебирает память
Пряди русые дорог.

Ветер с Волги – мед и тополь вместе —
Словно гусли тронет эту грудь.
Колоколенка – слепая – крестит
Тенью пресеченный путь.

Оттого клонюсь к земле и к нови,
Что, под спудом, в теле у меня
Костромской и ярославской крови
Светлая цела струя.

Оттого и не зовет иное —
Только б дням шуршать степным огнем —
Что таким же, знаю, перегноем
Я войду в твой мудрый чернозем.

1926

Ларисса Рейснер

В дни былых, шальных разноголосиц.
В белом платье, в ливень пулевой —
Ты вела по Волге миноносец,
Чтоб знамена крепили над Москвой.

Ты глухие исходила страны,
Научилась многое уметь,
Чтоб крутым пескам Афганистана
В слитных строках вышло шелестеть.

Это сердце — словно с кручи горной
В воды времени упавший лот,
Это жизнь твоя мешком узорным
Перекинута через седло.

Женщина, поэт, товарищ стойкий,
Звонкий крик, летящая стрела —
Ты ли это на больничной койке
Так по будничному умерла.

Но, быть может, славе пред веками
Трижды лучше скинуть седока
В той Москве, чей первый новый камень
Опустила и твоя рука.

1926

2

Гул земли, лихой полет в седле.
Зарево, свинец, степные дали —
Первенцы кремлевских бурных лет.
Мы других учебников не знали,

Но грядущей жизни мирен шаг —
И товарищ, опустив ресницы,
Перелистывает не спеша
Тесным шрифтом взбухшие страницы.

Лишь на миг в положенный урок
Грусть ворвется, словно грач залетный,
Да порой одна из трудных строк
Обернется лентой пулеметной....

Каждый час на вузовских скамьях,
В мягкой тишине лабораторий,
Помним – пролетариев семья
Опыт наш когда-нибудь повторит.

Те, кто там, за братским рубежом,
Ждут всемирного, крутого сдвига —
Пусть страна, в которой мы живем,
Будет им большой настольной книгой.

И чтоб враг не тронул наобум
Славой скрепленного переплета,
Как перо, оттачивайте ум
Для великой будничной работы.

Скучной мерой станем мерить сон
(Дни – в труде, за тихой лампой – ночи).
Чтобы в книгу ленинских времен
Лег и наш прямой и твердый почерк.

1927

Весна

Уже на голос твой широкий,
Весна, на всплески влажных дней
Вразброд летят и бьются строки,
Как стая мартовских грачей.

Да, в этот год весна – иная:
Уже в листках календаря
Она пылает, залегая —
Страны десятая заря.

То слава по горбатым склонам
Сбегает в шелесте снегов,
И мир московским щедрым звоном,
Как чаша, налит до краев.

И на крутом ветру весеннем,
Едва опасный ломкий плен —
Дрожат церковные ступени
И хрупкий камень белых стен.

И тихо гаснет позолота.
Цветное сыплется стекло...
Шумит в размахе перелета
Москвы тяжелое крыло!

Шумит... И бьется, отвечая.
В нас, отлученных навсегда,
Уже не сердце – мировая
Пятиконечная звезда.

1927

Парижская Коммуна

1

В день восемнадцатого марта
— О, незабвенный знак — Париж! —
Европы трепетная карта,
Каким ты именем горишь.

Нет, кровь стирается не скоро...
И, кровью щедро окроплен,
Вот он встает, бессмертный город,
В шуршанье ленинских знамен.

Но солнце славы всходит выше —
И здесь, над стынувшей Невой.
Сквозь поступь лет всё шире слышен.
Париж, твой голос громовой.

Что ж, нам недаром о свободе
Певала с колыбели мать, —
И мы на улицу выходим
Парижским воздухом дышать.

Нам сладок час созревшей мести
За боль, отчаянье и плен....
И Сен-Жерменского предместья
Вам не поднять уже с колен.

Париж, Париж! За всё расплатой —
Москвы крылатая заря:
И вот мы мартовскую дату
Включаем в числа Октября.

1927

2

Мы поступь лет острее слышим,
Затем, что здесь, цельна, светла,
Нам буревая кровь Парижа
Сегодня к сердцу прилила.

Крыло свободы — знак нетленный —
Мы в наших буднях узнаем.

И вольный плеск далекой Сены
У нас под невским бьется льдом.

Дождей перебивая пряжу
Шурша по скатам влажных крыш.
Нам ветер мартовский расскажет
О лучших днях твоих, Париж —

О днях тревоги и отваги.
Когда, гремя щитами стен,
Скрестили улицы, как шпаги,
Сент-Антуан и Сен-Жермен.

Когда стремглав в рассвет кровавый
В смятении падала земля.
И смерть всходила величаво
На Елисейские поля...

Париж. Простое начертанье,
И, славой щедро окроплен,
Он нам раскрыт в живом преданьи
И в складках Ленинских знамен.

1927

3

Париж, высоким пламенем свободы
Был озарен последний вечер твой.
Плеснулась кровь твоя, сквозь дни и годы,
Знаменами над вздыбленной Москвой.

Зерно тревог, сквозь все сады Версаля
Ты проросло для жатвы Октября.
Завод гудит — рекой огня и стали
Встает она, парижская заря.

Мы красной нитью связаны с тобою.
Твоих костров нам нежен перегар —
И ровным, бодрым током Волховстроя
Нам в тихой лампе вспыхнул твой пожар.

Париж, ты бился, рваный и голодный,
Людской волной о стены стройных войск —
И вот уже времен ремень приводный
Несет толпу, раскатанную в лоск...

Навстречу дням — нестройным, трудным стаям,

От пуль и бурь не заслонив лица,
Мы с каждым годом вдумчивей читаем
Простую повесть крови и свинца.

<1927>

Стихи о Китае 1927

1

Сын свободы, лучший между ними.
Он в сердцах как знамя укреплен:
Красной тушью выведено имя
На седом пергаменте времен.

По складам о нем читают дети.
Старшие поют о нем всегда —
В армии, шагающей в столетья,
И в кварталах нищего труда.

Но в стране, взрастившей Сунь-Ят-Сена,
Тот – другой – народом не забыт:
Желтой охрой вписана измена
В книгу славы, гнева и борьбы.

Ничего, что в памяти Востока
Гулко бьется нанкинский расстрел,
Что в Хайларе, у стены широкой,
Двадцать три их взято на прицел:

Плещет знамя, нарастают годы,
Лук беды – натянут невзначай...
И звенит, звенит в руках свободы
Драгоценной чашею Китай.

1927

2 20 минут

Выходи на простор, на звенящий тревогою воздух,
И в шуршащих газетах заглавные строки читай —
И поет налету и качает вечерний наш роздых,
И горит над толпою крылатое имя – Китай.

Вот опять и опять льются в мартовский сумрак знакомый
По дрожащим антеннам те двадцать минут буревых —
И плывет без конца, мимо залитых светом райкомов,
Море красных платков по сплетенным бульварам Москвы.

Это – здесь. А у них – в этот миг нарастает другое:
Каждый камень Нанкина захлестнут смертельной игрой,
И, сквозь меткий обстрел, человеческим мутным прибоем
Бьется гневное море о борт канонерки чужой.

Всё запомнится навек, всё скажется в жатве богатой:
Мерный стук телеграфа. Колеса, дробящие путь...
И под кожаной курткой, в кривых переулках Арбата,
Нам английский свинец обжигает упорную грудь.

1927

3

Не крепок ли чай?

Утром за завтраком, «Тайме» свой листая.
Худо вам в Лондоне, мистер Олл Райт, —
Из опрокинутой чаши Китая
Пить на крови настоявшийся чай.

Худо ль на древнем китайском фарфоре —
Стерпит и это чужая земля —
Маркой поставить корону над морем,
С надписью «боже, спаси короля».

Но неуклонно, за пулями следом,
Смело, под шелест кровавых знамен,
Входит крылатая джонка победы
В освобожденные воды времен.

В воздухе, звонком как клич Гоминдана,
Славою вычерчен вольный Шанхай. —
Рано губами причмокивать рьяно:
Эй, джентльмены, не крепок ли чай?

1927

Первое мая

Уже нам трудно заучить
Узоры льда и ветер снежный —
И солнца ломкие лучи
Теплеют медленно и нежно.

И тяжело струится пыль
На камни выветренной славы.
Адмиралтейский тусклый шпиль...
Веками стерты заставы...

Дымок над бледною Невой
В ее гранитной колыбели...
Таким он врезан, город мой.
В день догорающий апреля.

Но вот — тихонько ночь легла.
Чтоб утром вывести иное:
Москвы литые купола
Над северною стороною.

И вот уже другой напев
Качает наш невольный роздых —
И бьется знамя, осмелев,
И звонок первомайский воздух.

Ступай на улицу: она
Шуршит расцвеченной сарпинкой,
Когда страны твоей весна
В малиновой идет косынке.

Широк свободы красный звон.
Заря времен звездой всходит —
И Кремль всемирный отражен
В одном — всемирном — половодьи.

1927

Стихи о Кронштадте

Здесь слава якорем крутым
Лежит на свернутых канатах.
И тяжек синеватый дым
В волнах простертого Кронштадта.

И стклянок тонкий, мерный звон
В глухую ночь над фортом пролит.
Где каждый камень закреплен
Пластом бодрящей, влажной соли.

Маяк, спокойный на ветру,
Вода и воздух, мол широкий...
Здоровьем просмоленный труд:
Страна в движении, в планах, в доке.

Переплеснулась чайкой весть —
И Кремль выводит командиров.
И красный вымпел поднят здесь
Над плоской палубой мира.

Всё крепнет кормчая рука.
Десятый рейс упорно начат. —
Свобода, врезана в века
Твоя негнущаяся мачта!

Былые дни — в костер, на слом:
В моря времен, к потокам света
Стальным, высоким кораблем
Плывет республика советов.

1927

Порт

Он вычерчен углем в неясном тумане.
На слух и на ошупь обветрен и груб.
Но он не предаст, не остынет, не встанет —
Крутой перелесок и тросов и труб.

С зарей он шумит, просыпаясь угрюмо —
И цепь громыхает в проржавленный люк;
Распахнутый жадно, он зевами трюмов
Глотает мазут, и пшено, и урюк.

Он грузы на коготь разлаписто ловит —
И груз полукругом плывет в синеве,
И выпел, алее запекшейся крови,
Над жилами барок кричит о Москве.

<1927>

Ленинград

От вокзала, от финских обугленных шпал
До кирпичной стены арсенала —
Этим воздухом Ленин когда-то дышал,
Здесь, у моста «Аврора» стояла.
Не остыть, и не скинуть, и не перевозмочь;
Кружит времени бурная пена —
И, срываясь, гудят в непроглядную ночь
С ледоколов шальные сирены.
И на крепком, порывистом, влажном ветру
Видишь, — мачта качнула огнями,
И струится по докам размеренный труд,
И развернуто сердце, как знамя.
В дни и годы, в пургу, в мировой бурелом,
В зыбь веков, в голубое приволье —
Этот город простерт ястребиным крылом
Над балтийскою, мутною солью.
Здесь и швед, и китаец по-своему брат
Всем пимам, тибетейкам и буркам;
Это алым побегом растет Ленинград
Из болот и трущоб Петербурга.
Колыбель революций, краском на часах —
Мы добьемся... до боли... до черта —
Разве «Красин» не шел, надрываясь, во льдах,
От ворот ленинградского порта?
От вокзала, от финских обугленных шпал
До кирпичной стены арсенала —
Этим воздухом Ленин когда-то дышал,
В этих водах «Аврора» стояла.

Уже осыпалась весна

Уже осыпалась весна.
И красное ложится лето, —
В десятый раз обновлена
Страна широкая советов.

Взгляни вокруг. Она – твоя.
Ее моря. Ее просторы.
Бежит стальная колея...
Леса. Равнины. Реки. Горы.

Спеши туда, в тепло, на юг,
Свой стан расправить онемелый,
Загладить будней нудный стук,
На солнце переплавить тело,

А тронет за сердце тоска —
Над полосой береговой
Ловить знакомый шум станка
В гремящем, плещущем прибое.

И снова в омут городской
Вернешься ты с курортной койки,
Ступая четко и легко,
Веселый. Загорелый. Стойкий.

И снова – в свой машинный сад.
Но с грузом бодрости и смеха.
Чтоб крымский вдруг узнать закат
В огне мартеновского цеха.

1927

Июль

О полдень стихла полоса.
Лишь ветер пробежал... Вожатым.
Рожь плещет золотом пернатым.
Внезапный свет слепит глаза...
Так, первым громовым раскатом.
Встает июльская гроза.

Уже он рухнул, царский дом.
Но на обломках черной славы —
Всё тот же знак — орел двуглавый,
Еще не отданный на слом.
И вот — июль с глухой заставы
Кровавым пролился дождем.

О, хмель перебродивших дней!
Мы шли, мы падали — ну что же:
Другие нашу песню сложат —
Всё о свободе, всё о ней...
И сердце вынести не может
Тот жар мартеновских огней.

Нас Ленин пестовал не зря,
Мы выросли в суровой неге:
И в дни, когда на русском снеге
Горит всемирная заря —
Нам бьют июльские побеги
В широкой жатве Октября.

1927

Феликс

Всегда в огне, всегда за делом.
Всё передышка далека.
И сплавлены рукой умелой
ВСНХ и ВЧК.

Крушение. Взрыв. Шальная пуля
Из-за угла. Распада тень —
И вот в двадцатый день июля.
Жизнь – перетершийся ремень.

На лоб надвинутая кепка.
Весь молчаливый и стальной.
Таким ушел и лег он крепко
В дозор под Красною стеной.

Но в младших – воля и сноровка.
Один подход, борьба одна...
Так будь же, память, как винтовка,
Его свинцом заряжена!

И если вдруг ослабнут силы,
Один пример – нам Феликс дан,
Чтоб удержать сподручней было
Коня, портфель или наган.

1928

[Часы на Кремле]

Часы на Кремле никогда не стоят.
Четырежды вчерчен в века циферблат.
... Их слушает вся страна.

Натянута туго времен тетива
И стрелка идет, наклоняясь едва.
... Их слушает вся страна.

С котомкой ушел из деревни мой дед.
Но внучка находит протоптанный след.
... Их слушает вся страна.

Ей шрифтом газету дано окропить.
Ей выпала пряжей словесная нить.
... Их слушает вся страна.

И строки, как полосу, выправим мы
За лен и зерно золотой Костромы.
... Их слушает вся страна.

И тихо в деревне дивятся судьбе
И слушают радио в светлой избе.
... Их слушает вся страна.

А в гулкой столице, сквозь темень и сон,
Нещадно ночами звонит телефон.
... Их слушает вся страна:

И Спасская башня в ночной тишине
Приходит к тебе и приходит ко мне.
... Их слушает вся страна.

1927. [г. Москва]

Страна Советов

Простой и пламенной. Такою.
Годами-крыльями звеня.
Она встает передо мною —
Страна моя, любовь моя.

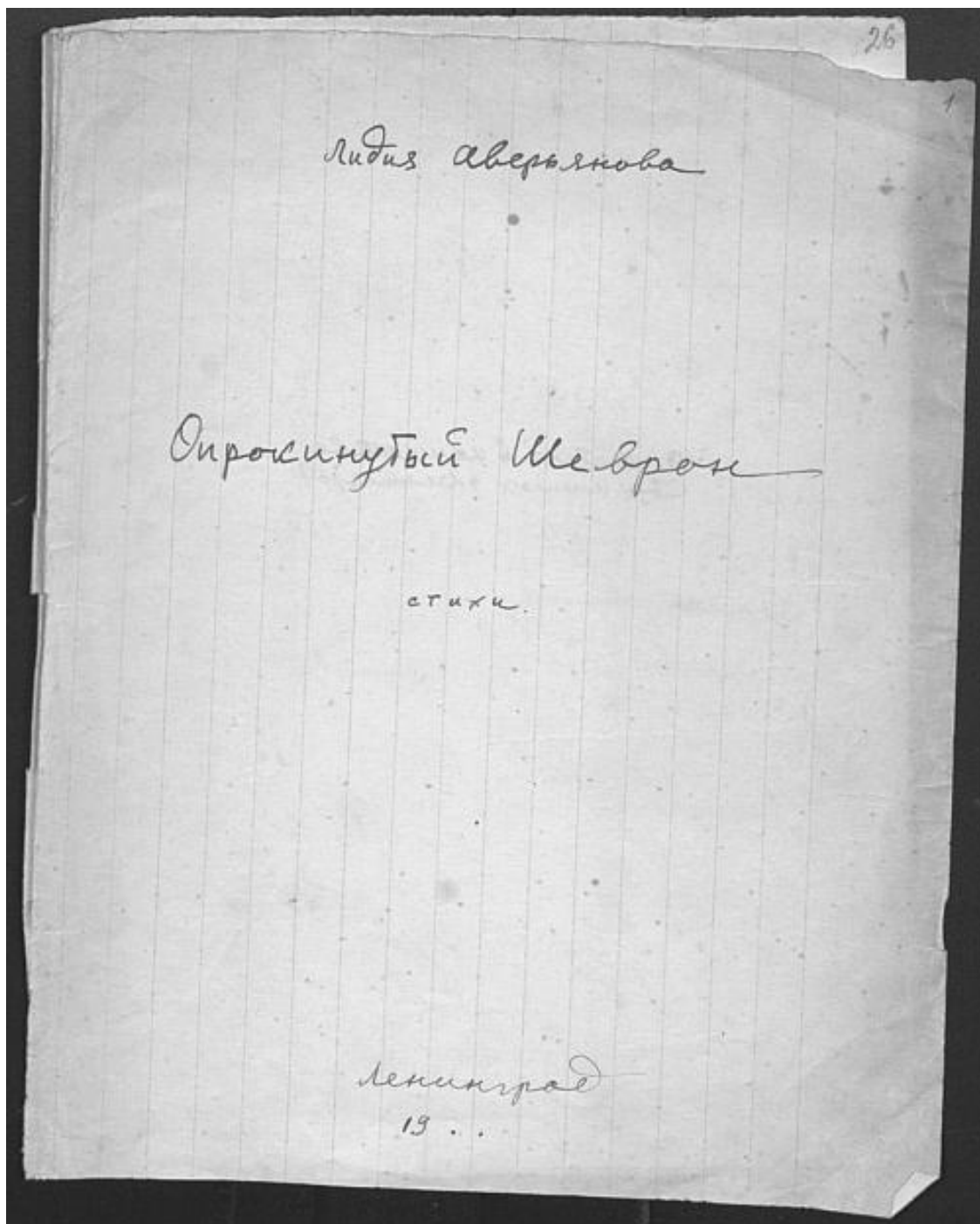
Вокруг Кремля – сердец ограда.
Знамен протянутая кровь.....
Мне больше ничего не надо.
Страна моя, моя любовь!

Звездой ведома пятипалой,
Высокой славе вручена,
Качайся, мак мой темно-алый,
Моя любовь, моя страна.

А если выпадет иное:
Снарядом сбит дымок жилья, —
Ну, что ж, мы ляжем перегноем,
Страна моя, любовь моя!

<1927>

Опрокинутый шеврон Стихи



Акростих

Ах, нет пути, мне нет пути назад!
Нестройное меня сжигает пламя:
Душа моя – как Соловьиный Сад —
Российскими звенит колоколами.
Едва струится полночь над водой
И гулкий мост свои качает звенья...
Когда б я стать могла чужой судьбой,
Одним неотвратимым совпаденьем! —
Рука к руке. Сарказма нежный лед...
Старинный недруг, нет, Вы не поймете:
У нас, под спудом память бережет
Неву, и ночь, и сердце на отлете.

27 октября 1928, 29 ноября 1928

Скрытый акrostих

Алый вечер, влажный ветер.
Он коснулся дней моих —
И с двойной судьбой на свете
Мне *ра*сти – и трогать стих:
Знаю, *е*сли луч заката
Тонкий путь мой пресечет —
Вот, замкнулась я от брата
В тихий дом и нежный лед;
Если ветер – божий странник —
Сдует радость с губ долой —
Это сердце будишь к ранней
Ты, недобрый *княж*ич мой!

1 ноября 1928, 6 ноября 1928

Колчан

А. И. К.

Я не запомню лик такой
На складнях дедовских молелен
– Как мне отпущенный, двойной
Колчан ресниц твоих смертелен.

Червлёных дней не расплести.
Плывет туман, как жемчуг зыбкий
– Какие замкнуты пути
Одной дугой твоей улыбки.

Но – ветер из далеких стран —
Я вновь стою в плаще разлуки...
– Каких неизлечимых ран
Не уврачуют эти руки.

25 ноября 1928

Знаешь, в дни, когда я от бессилья

Знаешь, в дни, когда я от бессилья
Становлюсь, вот так, сама собой —
Простирают огненные крылья
Ангелы к душе моей слепой.

Ах, я в брод прошла такие реки,
Я прочла, мой друг, так много книг,
Что у лучших опустились веки
И заплакал сам Архистратиг.

Только это сердце принимая,
Ни большой, ни мудрой не зови:
Я такая женщина простая,
Нищая в моей к тебе любви.

Вот, я здесь, в моем плаще разлуки;
Всем ветрам не удержать меня —
Но твои пылающие руки
Мне страшнее моря и огня.

Эта боль в подкошенных коленях —
Снится мне с годами всё сильней:
Головой на каменных ступенях
Я лежу у милых мне дверей.

21–23 ноября 1928

У тебя глаза – теплеющие страны

У тебя глаза – теплеющие страны.
Крылья времени у твоего плеча.
В памяти медовым говором Тосканы
Флорентийская шуршит парча.

Ах, во флорентийских хрониках любили
Так, как мне тебя не полюбить, Андрей:
Наши дни – как связка флорентийских лилий —
Только тень других, высоких дней.

Но под русскими снегами бьется сердце,
Кровь бежит венчальною струей.
О, Флоренция, Флоренция, Фьоренца,
Вот, смотри, ты назван именем ее.

И больших пространств едва тугое пенье
Катится, как в темном кубке жемчуга:
Флорентийской жизни древнее течение
Входит в северные берега.

23 ноября 1928

Я сказочно богата ожиданием

Я сказочно богата ожиданием.
Живу – и дней крылатых не считаю.
За долгий путь вознаградит свиданием
Старинный недруг – или друг – не знаю.

В полотнах времени идет навстречу
Тот, кто навек назначен мне судьбою. —
О, кто б Ты ни был – знай, Ты мной отмечен:
Благословенье Божье над Тобою.

Взгляни в лицо мое – Твое отныне,
В мои глаза, опущенные строго:
К Тебе, к Тебе ведет меня и стынет
Тропой цветочной райская дорога.

*1 декабря 1928
Союз писателей*

Нет, клекот дней не чувствовать острее

Нет, клекот дней не чувствовать острее.
Но жить стремглав, бездумно налегке —
Не камнем медленным на этой шее,
Но четками на дрогнувшей руке.

И двигаться, шурша, нежнее дыма,
Как Ариаднина струиться нить —
Чтоб было Вам, мой друг, неповторимо
Легко держать и легче уронить:

Ведь с тонкой тенью моего заката
Пути скрестились Ваши и мои —
И сердце Корсунов в гербе крылато
Двойной стрелою смерти и любви.

6 декабря 1928

Крылом любви приподнята над всеми

Крылом любви приподнята над всеми...
Мой ломкий жребий нежен и жесток. —
Глубокой ночью ропщущее время
Глухим прибоем плещется у ног.

В плаще времен мне стройной снится тенью.
Как кипарисы, молодость твоя.
К твоим губам, к узлу сердцебиенья,
Цветком надломленным склоняюсь я.

И жутких глаз я больше не раскрою,
Но ковриком душа простерта ниц —
И смерть едва заметною ладьею
Плывет по краю сомкнутых ресниц.

Орлиный клекот, ветер непокая,
Сжигая дней легчайшие листы,
В высокой муке, под моей рукою,
О, сердце Корсунов, как бьешься ты!

9 декабря 1928

О, в складках всё одной мечты

А. К.

О, в складках всё одной мечты.
В тисках холодного веселья.
Мне снится, снится, друг, как ты —
Ее целуешь ожерелье.

И, руки спрятав за спиной,
Чтоб не схватить ножа тупого, —
Я, в оскорбление ей одной,
С трудом придумываю слово.

.. И, верно, голос твой ослаб:
Ее руки рукой касаться...
С улыбкой спит она. Когда б
Она могла не просыпаться!

И часто так, в тугом плену,
Хмельным качаемая зельем,
Я вдруг ей горло затяну
Ей возвращенным ожерельем.

*13 декабря 1928. Полночь
День Андрея Первозванного*

И я справляю свое Рождество

И я справляю свое Рождество:
Стою, смотри, у окна твоего.

И вижу ограду, каток, кусты
И всё, что обычно здесь видишь ты.

Не ты со мной, но большие слова,
Вот, имя твое приходит сперва,

Ложится на сердце крылами букв,
Сухая ладонь приглушает стук.

В круженье, в тревоге, в плену таком,
Зачем я вошла в этот серый дом.

Мой стройный, высокий, хороший весь,
Андрей, я не знаю, зачем я здесь.

Вздывается жизнь за твоим окном —
И слезы весь мир рисуют пятном,

И ветер — сквозь жуткий нездешний свет —
Качает деревья, которых нет.

23 декабря 1928

Акростих

А я не та. Опять мой голос ломкий
Над степью лег, под купол синевы. —
Да, туже всех ремень моей котомки
Рукой своею затянули Вы.

Еще я – факел на ветру разлуки,
И я горю, чуть вспомню милый дом,
Когда мой стих я Вам роняла в руки,
Обожжена строфическим крылом.

Развеян теплый пепел воспоминанья.
Спокойной будь. Ты вновь обречена
Уйти. В тебе, как в опустелом зданье,
Нет больше жизни. Только тишина.

29–30 декабря 1928

Я помню, девочкой, случайно

Я помню, девочкой, случайно
С судьбою вымысел сплетя,
В полях, под снегом, с болью тайной
Андреев-крест искала я.

Ни волк, ни зверь иной не тронет
Меня, царевну – и домой
Цветок несла я меж ладоней,
Как сердце, данное судьбой.

И вот – Тебя зовут Андреем.
Над нами высятся года.
При встрече – нет, мы не краснеем
И улыбаемся всегда.

Но если, друг, неясны дали,
Твой жребий темен и жесток —
Мне будет крест твоих печалей
Как легкий некогда цветок.

Ноябрь-декабрь 1928

Дни

Как дней пустые жемчуга
На теплый пепел сновиденья —
Спадет на наши берега
Вода глубокого забвенья.

Они кричат, слова мои.
Всё ищут выхода и входа
Румяно прожитые дни.
Тревогой скошенные годы.

Как больно мне не быть твоей.
Как мысль терзается сухая.
Квадратный жемчуг наших дней
В последний раз перебирая.

Смотри, как дом распахнут твой —
И снова, дрогнув от бессилья,
Мой голос над твоей душой
Простер надломленные крылья.

29–30 декабря 1928

Сонет-акrostих

Дано мне сердце – сокол меж сердцами —
А мне ему не перебить крыла.
А мне таких – как солнце, как стрела! —
Не удержать бескрылыми руками.

Дай мне взглянуть в лицо твое. Над нами
Редчайший север – небо из стекла;
Его лучи я тихо отвела:
Италии твоей шуршит мне пламя.

Как будет трудно жить мне без тебя.
Одна любовь ладьей сонета правит.
Ровнее стих. Не узнаю себя:

С какой зарей мой сон меня оставит?
Уходит всё. И всё возвращено.
Не страсть стареет – доброе вино.

1–2 января 1929

Греческая церковь

День раскрывался, как белый подснежник.
Солнце стояло за облачной дверкой —
В Троицын день, благовонный и нежный,
В Троицын день я вошла в эту церковь.

Я – с нерушимой твоей колыбелью,
С темным крылом моего лихолетья...
Воздух струился над плоской купелью
Греческим медом и греческой медью.

В рай позолоченный, к тесной иконе
С веткой березы, прозрачной и узкой:
Здесь обо всем, что к земле меня клонит,
Матери Божьей я всплачусь Корсунской...

В вихре знамен, в молодом большетравьи
Я пронесу через годы тугие
Дрогнувший дар твоего православья,
Выпуклый клекот твоей Византии.

2 января 1929

Сонет-акrostих

Нет, он другой; не выше и не лучше —
Его собой ты не напомнишь мне.
А я – ну, что ж: на всем твоём огне
Не таю я. Моя дорога круче.

Другим путем – путями всех излучин
Растет любовь, пришедшая извне:
Ей арфой быть в хрустальной тишине.
... И так, как ты, никто меня не мучил.

Каких камней не бросишь ты в меня?
Оставь, хоть в шутку, сердце не разбитым.
Редает сумрак. Жизнь идет, звеня.

Скажи, что с кубком делать мне испытыв?
Улыбки нет. Успокоенья нет.
Нет и другого. Есть – еще сонет!

9 января 1929

Я знаю дом: и я когда-то

Андрею Корсуну

Я знаю дом: и я когда-то
Жила в такой же тишине.
Лучи такого же заката
Зарю играли на стене.

Мы ценим, первенцы последних.
Воспоминанья хрупкий морг —
И *геральдические* бредни.
И *геральдический* восторг.

В другой эпохе безмятежно
Застыли стрелки на часах —
А на столе, как вечер нежном,
Развернут Готский Альманах.

Ты бьешь крылами непокоя,
В роду последнее звено —
И мне горит твое большое,
Чуть розоватое окно.

В ветвях чужих генеалогий,
До света легкий тратя свет,
Ищи исход своей тревоге —
Исхода нет. Покоя нет.

Года разрушат всё, что хрупко —
И нам останется одно:
Из геральдического кубка
Тянуть старинное вино.

3 января 1929

Акростих

Ах, в каких видала сновиденьях
Не тебя, мой княжич – твоего
Двойника ли, ангела – в смятеньи
Разве сердце скажет мне, кого.

Есть во мне стихов тугие струны
И дуга большого мастерства.
Как мне быть, когда таким бездумным
Одиночеством горят слова.

Редкий день пройдет без песнопенья,
Словно церковь, стала я душой.
Увидать в каких бы сновиденьях
Не тебя, не друга – жребий мой.

3 января 1929

О, милая любовь моя

О, милая любовь моя.
О, сердце, полное смятенья! —
Как неразрывен круг огня —
Тех дней пылающие звенья.

Склоняясь к твоему плечу
Как некогда ко сну и смерти —
В какие бездны я лечу
Какие звезды путь мой чертят?

Я сердцем брошена в снега.
Как Кая ищущая Герда, —
И слов большие жемчуга
Дрожат меж створками конверта:

Растает льдинкой эта ложь.
Придет Она – ты, в злом весельи,
Ей шею трижды обовьешь
Мной сотворенным ожерельем.

4 января 1929

Авиньонское мое плененье

Авиньонское мое плененье.
Нет путей к семи холмам покоя.
Дни мои – они лишь отраженье
Рима, затененного Тобою.

Ель качнула треугольный терем.
Итальянский воздух, умиранье...
Как живые мысли мы умеем
Отравлять водой воспоминанья!

Редок, счастье, твой некрупный жемчуг.
Снежной пряжей тихо тает – наше.
У меня, во сне, всё губы шепчут:
«Наклонить Тебя – и пить, как чашу»...

4 февраля 1929

Серебряная Рака Стихи о Петербурге 1925–1937

Посвящается Л. Р.

Я не позволю – нет, неверно

Я не позволю – нет, неверно:
Уже смертелен мне Твой рот, —
Любовь – взволнованную серну —
Прикосновеньем сбить с высот.

Легки супружеские узы,
А может быть – их вовсе нет...
Ты мудро вызолочен Музой:
Что ж, погибай – один ответ.

А я стою вне всякой скверны...
Так доживает век, один,
На женщин, верных и неверных,
Тобой разменянный Кузмин.

1935

I

Других стихов достоин Ты

Других стихов достоин Ты.
Развязан первой встречи пояс:
Нева бросалась под мосты.
Как та Каренина под поезд.

На эту встречу ты подбит
Был шалым ветром всех созывов...
И я схватилась за гранит
Как всадник держится за гриву;

И я... но снова о Тебе...
Так фонарем маяк обводят.
Так выстрел крепости, в обед
Доверен вспугнутой погоде.

Так всякий раз: Нева. Гранит.
Петром отторгнутые земли...
И поле Марсово на щит
Отцветший свой меня приемлет.

1935

Дворец был Мраморным – и впору

Дворец был Мраморным – и впору
Событью. Он скрывал Тебя.
Судьбой командовал Суворов —
И мы столкнулись – Ты и я.

Нева? Была. Во всем разгоне.
И Марс, не знавший ничего.
Тебя мне подал на ладони
Большого поля своего.

С тех пор мне стал последним кровом
Осенних листьев рваный стяг.
И я, у дома Салтыкова.
Невольно замедляю шаг;

Как меч на солнце пламенею
И знаю: мне не быть в плену:

Оставив мирные затеи.
Любовь ведет со мной войну.

1935

За то, что не порвать с Невой

За то, что не порвать с Невой.
А невский ветер студит плечи, —
Тебя выводит город мой
Из всех туманов мне навстречу.

За то, что каждый камень здесь,
Как Ты – любим, воспет и строен, —
Ты городом мне выдан весь
На ямб. И город мой спокоен:

Не станет беглый взгляд темней,
Едва скользнув за мною следом. —
Ты городом поставлен мне
На вид: как эта крепость – шведам.

Но не гордись. Мне всё равно,
Тебя ль касаться, лиры, лютни...
Любой Невы доступно дно,
И я не стану бесприютней.

1935

Фельтен для Тебя построил здание

Фельтен для Тебя построил здание.
Строгое, достойное Тебя, —
И Нева бежит, как на свиданье,
Спутница всегдашняя твоя...

Вставлен в снег решеток росчерк черный,
Под ноги Тебе, под голос пург,
Набережные кладут покорно
Белый верх своих торцовых шкур.

И, Тобой отмеченный, отныне
Мне вдвойне дороже город наш. —
Вечный мир второй Екатерине,
Нам воздвигшей первый Эрмитаж.

1935

Расставаться с тобой я учусь

Расставаться с тобой я учусь
На большие, пустые недели, —
Переламывать голос и грусть,
Мне доверенные с колыбели:

Чтобы город на завязи рек
Предпочла я высоким мужчинам,
Чтобы не был чужой человек
Безраздельным моим господином.

Или вправду Ты нужен мне так,
Что и город мой – темен и тесен? —
Отпусти меня в море, рыбак,
Если мало русалочьих песен:

Пусть привычное множество Нев
В той, гранитной, качнет меня зыбке, —
Чтобы имя короткое: Лев, —
Мне не всем говорить по ошибке.

1935

Летний сад

Младшим – стройное наследство.
Лебедь, кличущий назад, —
Ты мной дивно правишь с детства,
Венценосный Летний Сад.

Дрогнет мраморное вече.
Жолудь цокает в висок.
Место первой нашей встречи
От тебя наискосок.

Так. Скудеющей походкой.
Так. Растеряны слова.
Там, за дымчатой решеткой,
Тяжко стелется Нева.

Струны каменные – четче
Всех чугунных – горний кряж...
Так тебя украсил зодчий,
Тот, что строил Эрмитаж.

Летний Сад, какое лето
Нас введет сюда вдвоем?
Вдоль гранита плещет Лета,
Покоренная Петром.

1935

Как Гумилев – на львиную охоту

Как Гумилев – на львиную охоту.
Я отправляюсь в город за Тобой:
Даны мне копы – шпилей позолота —
И, на снегу, песок еще сухой.

И чернокожие деревья в дымной
Дали, и розовый гранитный ларь, —
И там, где лег большой пустыней Зимний,
Скитаюсь, петербургская Агарь...

1935

Когда всё проиграно, даже Твой

Когда всё проиграно, даже Твой
Приход подтасован горем, —
Тогда, выступая как слон боевой,
На помощь приходит город.

Он выправит, он – неизбежный друг —
Мне каждый раскроет камень,
Обнимет, за неимением рук,
Невы своей рукавами.

И, в каждом квадрате гранитных риз
Лелея на выезд визу —
Мне можно ослепнуть от снежных брызг —
Эдипу двух равных Сфинксов.

И снова, укачивая и креня,
Под свод Твоего закона
Мой город вслепую ведет меня —
Недвижная Антигона.

1931

II

Биржа

Здесь зодчая рука Томона
Коснулась дивной простоты —
И камень камню лег на лоно.
Хранить дощатые мосты.

О, Биржа! на первичном плане
Так строгий замысел встает.
И чутко слышал иностранец
Неву туман и тонкий лед:

На мерно скрепленные стены
Струится веско тишина.
И, в складках сумрака, нетленна
Колонн крутая белизна;

И на широкие ступени
Здесь ветер с ладожских зыбей
Склоняет ломкие колени
Пред стойкой прелестью твоей.

1925

Владимирский собор чудесно княжит

Владимирский собор чудесно княжит
Над садом, над Невою, надо мной...
Я тронута мечтательно — и даже
Не синевой, не белизной:

Нет, в нем одном так оба цвета слиты,
Что вижу я (и замедляю шаг)
Над Петербургом — палубой немойтой —
Андреевский полузабытый флаг.

1934

На Марсовом широковейном поле

На Марсовом широковейном поле
Острее запах палого листа

И ветер мне – крупницей свежей соли
С горбатого, сурового моста.

О, город мой, как ты великолепен!
Здесь перебито будней колесо.
Заботы о ночлеге и о хлебе —
Горсть желудей и небо: вот и всё.

Так воробьи, в песке чуть влажном роясь,
Бездомными не чувствуют себя.
И кажется тогда мне: я покоюсь,
О, город мой, на сердце у тебя.

1931

Так. Желтизна блестит в листве

Так. Желтизна блестит в листве.
В оцепенении жгучей муки
Мечеть в постылой синеве
Простерла каменные руки.

И, преломляясь, никнет дым,
С дорожной смешиваясь пылью.
А я иду путем моим.
Уж август складывает крылья.

И, больше чем любой исход.
Острее ласкового слова.
Меня, такую, развлечет
Листок плюща с окна чужого.

1928

Лает радио на углу

Лает радио на углу
И витрина освещена,
И по дымчатому стеклу
Рьяной струйкой бежит весна.

Демос – вымер, и город спит.
Не сказалось. Не вышло. Что ж.
Только ветер мне плащ и щит,
Только ветер – и дождь, и дождь...

Старый дождь, мы с тобой вдвоем,

Дрогнет площадь и даль пуста.
Как любовники, мы пройдем
На зеленый глазок моста.

1928

Князь-Владимирский собор

I

Среди берез зеленокудых
Собор, как чаша, вознесен:
Трезини был он начат мудро,
Ринальди славно завершен.

В обличьи стен – еще простое:
Петровский росчерк, прям и смел.
И колокольня высотой —
О, в тысячу парфянских стрел!

Но не об этом встанет песня
Костром в лирической игре:
Не о соборе, всех чудесней,
Не о Трезини и Петре...

Высок и прост мой символ веры:
Я сквозь листвы живую сеть,
Вон с той скамьи, на дом твой серый
Могу рассеянно смотреть.

II

Никогда мне Тебя не найти,
Мне не встретить Тебя никогда —
Так запутаны в мире пути.
Так трудны и шумны города.

И, чтоб я отыскала Твой дом.
Как жемчужину в горсти сестер.
Стал высоким моим маяком
Князь-Владимирский белый собор.

В сером доме, где, в шесть этажей,
Под лепною ромашкой бетон,
Я не знаю заветных дверей,
Не узнаю окна меж окон.

И ворота – двойной лепесток —
Раскрываются, тихо звеня...
Каждый тонкий, литой завиток
Мне дороже, чем юность моя.

Припадаю, в трамвае, к стеклу
Жаром сухо очерченных губ:
Ты живешь на чудесном углу,
Против дома, где жил Сологуб.

1930

Город воздуха, город туманов

Город воздуха, город туманов.
Тонких шпилей, протяжных сирен, —
Никогда я бродить не устану
Вдоль гранитных приземистых стен.

Хороша, как походка красавиц
И как первая в жизни любовь,
Многих Нев многоводная завязь,
С синевою, как царская кровь.

Если дальше дышать не смогу я,
Как я знаю, что примете вы,
Полновесные, темные струи,
Венценосные воды Невы.

1931

...И ты, между крыльев заката

...И ты, между крыльев заката.
Как луч в петербургской листве.
Проходишь под аркой Сената
К широкой, спокойной Неве.

Мой город... он – голос и тело,
Сквозь зданий облупленный мел.
Он голубем сизым и белым
На финские топи слетел;

Он вырос из грубого хора
Московской, тугой суеты —
Мой голос, мой голубь, мой город,

Родной и высокий, как ты.

1929

На Охтенском мосту

Чешуйчатые башни
На Охтенском мосту.
Где лед скользкой пашней
Развернут на версту.

Фонарь, ведро олифы —
Расплесканный уют...
В двух горенках — два скифа —
Привратники живут.

Они сметают мусор
В железные совки —
Окурки, шпильки, бусы
И драные кульки.

А в полдень — входят важно,
У ветра на счету,
В чешуйчатые башни
На Охте иском мосту.

1933

Михайловский замок

В гранитном, северном цветке
Осколок мрачного преданья —
На зыбком, медленном песке
Безумьем созданное зданье.

Оно у кованых перил
Коробкой смятою застыло. —
Не правда ль, Павел, ты любил
Свою кирпичную могилу?

Как пешеходы вдоль реки,
Сквозь жизнь ты шел, из зала в зало...
И в черных рамах глубоки
Окон белесые провалы.

На киноварь стены крутой
Лег иней сединою мудрой:

Так падал некогда сухой
На запах крови запах пудры.

И, смутный раздвигая сон,
Под букв литую позолотой,
Стальные челюсти времен —
Еще смыкаются ворота...

Истошный окрик стих и слег.
И, меж деревьев, над водою,
Едва приметный огонек
Горит зеленою звездой.

И вдоль дорических колонн —
Их ровно десять вывел Бренна, —
Другие дни берут разгон:
И с каждым солнцем неизменно

(Курносый пасынок судьбы.
Сухим смешком своим залейся!)
– Горячий хлеб и новый быт
Несут с собой красноармейцы.

1928

Адмиралтейство

1

Вянет солнца нежная солома.
И, разрозненный, струится луг
Мимо львов Лобановского дома.
В золотой адмиралтейский круг...

Мне своих не переставить ларов:
Будет сниться – чуть взгляну назад —
В рыхлый камень пеленал Захаров
Этот узкий, длительный фасад.

Только б так, по скату лет суровых,
Всё идти, но с молнией в руке —
И лепную прелесть дней петровых
Не доверить ломаной строке.

1928

2

В ромашках свод, тенист и узок.
Я солнце видеть не могу,
Где зданье пористой медузой
Распластано на берегу.

Немецких плотников услада.
Над запыленным гравием крыш.
В зеленых водорослях сада
Ты рейнским золотом горишь.

Каких героев приближение
Твою пронижет чешую?
В гранитной чаше отражение
Качает ветер, как ладью.

И время полною струею
Реки отягощает ход...
Обличье ложного покоя
Глаза, шаги сюда влечет:

И вновь вернее всех обьятий
Перебивая память, тут
Лепными щупальцами схватит
Меня адмиралтейский спрут.

1933

Адмиралтейство

В<севолоду> П<етрову>

Маргаритками цветет Империя.
Желтым полем нежно выгнут свод.
Зданье – лебедь с выпуклыми перьями —
Славы первенец – парит... плывет...

Шкуркой – лисьей или горностаевой —
О, распластанное на ветру
О, двухцветное, – крошись, истаивай,
В солнце врезанное ввечеру.

Ты – стройнее гениальной памяти —
Временем чуть выветренный кров.
Пористый ковчег – нельзя, слова не те
Отпечаток предадут петров...

Или, ревностной медузой выскользнув,
Ты – Неве песчаная коса? —
Здесь эпоха повернула циркуль свой,
Век простер лепные паруса.

Что ж, из имени петрова вставшее,
Вдруг стихами легшее в персты,
Маргариткой отцветай, ромашкою:
Мне гадать еще поможешь ты.

1933

Фельтен

С глухой конюшни крик истошный.
Французский говор в свисте пург —
Екатерининский, роскошный.
Тяжеловесный Петербург.

Но, в полукругах ломких линий,
В крутых извивах — путь огня! —
Она, смотри, цела доныне,
Прямая линия твоя.

Дубы Петра сухой и четкий
Пленил навеки твой чугун;
Высокий строй твоей решетки —
Как пение гранитных струн...

Какой судьбой — никто не скажет
И меньше всех, быть может, ты —
Но всходят стены Эрмитажа,
Геометрически просты.

Колокола и окна — немые,
Но церковь — нет, я не могу:
Она лепною теоремой,
Голубкой стынет на снегу...

И пусть Невы разбита дельта
На планах вдоль и поперек:
Краеугольным камнем Фельтен
В той стройке бешеной залег.

1933

Три решетки

Черным кружевом врезана в пепел
Серых дней и белесых ночей
Та решетка – великолеплье
Похорон или палачей.

И другая гранит свой покаты
Приструнила, нарядней стократ
Где ущербным мрамором статуй
Населен поредевший сад...

Смят железной когортой столетья
Пышный век тот, раскатанный в лоск.
Воронихин, Фельтен и третий...
Тает камень, как тает воск.

И, за шкуру свою беспокоясь, —
О, защитный растреллиев цвет! —
Отдал Зимний свой царственный пояс
Парку лучших советских лет.

Так росли мы сквозь годы глухие,
Тень осины в квадратах тюрьмы:
Город – гордость любой России —
По решеткам запомним мы.

1933

Смольный: I

Утро. Ветер. Воздух вольный.
Колесован снег и след.
Вырисовывает Смольный
Свой китайский силуэт.

Словно поднятые пальцы —
Боковые купола...
Время, выведшее, сжался
Над ладонью из стекла.

Первой льдиной, легче дыма,
Рассыпается собор:
В горнах дней неувовимо
Тает выпранный фарфор.

Неужели, неужели
Мы навек осуждены,
Вместе с замыслом Растрелли,
У Китайской лечь стены?..

... Из-под палок Николая
Госпиталь кровавый встал,
И Кропоткин, убегая —
Азиатчины бежал.

1933

Когда на выпретенные стены

Когда на выпретенные стены
Прозрачная спадает тишь, —
Ты — снова ты, мой город тленный,
И раковиной ты шумишь.

Дрожат твои пустые створки —
Надломленный веками щит...
Пускай витийствующий Горький
О братстве вычурно кричит:

Мы не приветим, не приемлем,
Своими мы не ощутим
Ни их размеренные земли —
В веках мертворожденный Рим, —

Ни сон, который смутно снится
Слепцам на скифском берегу,
Где Русь — высокая волчица —
Легла. И стынет на снегу.

1929, 1930

III

Лепным прибоем, пеной в просинь

Лепным прибоем, пеной в просинь
На площадь вылетел дворец —
И дивной арки Карло России
Над нами тяжкий был венец.

Под ветром выстывало тело.
Нет, не по-прежнему, не так...
И мостик Певческой Капеллы
Двойной и гулкий принял шаг.

... А по ночам, лицом в подушку,
Мой друг, мне можно вспоминать:
Здесь Блок бродил, здесь умер Пушкин,
Здесь мы не встретимся опять.

1932

Еще не выбелен весной

Еще не выбелен весной
Наш вечер. Льды не тонут.
Здесь всё воспето было мной.
И только Петр — не тронут.

Меня учила с детства мать.
Тому назад, когда-то.
В молчаньи подолгу стоять
Под аркою Сената.

Да, здесь, где был, сквозь лед, огонь
И воду — век распорот,
Поставлен миру на ладонь
Наш неизбывный город...

1932

Отдай обратно мне мои слова

Отдай обратно мне мои слова.
Зачем Тебе высокий строй и нежность? —

Для нас двоих была тогда Нева
Такой большой, прославленной и снежной.

Со мною дни нещадно сводят счет.
Всё тяжелей в висках биенье крови.
Как дивно мне, что так очерчен рот
И так легки мальчишеские брови.

Когда-нибудь, измучившись сперва,
Когда в борьбе Твои ослабнут силы,
Я с губ Твоих сниму все те слова,
Которых я Тебе не говорила.

1932

Какое солнце встало, озарив

Какое солнце встало, озарив
Твой город, теплый, словно стенки горна:
Кроваво-красным кажется мне шрифт
В разлете книг, хотя он – просто черный.

Смотри, чтоб то, что начато Невой,
Не обернулось Зимнею Канавкой.
Мне лучше быть не женщиной живой,
А так, двухцветной книжною заставкой:

Чтоб покрывался пылью легкий дом,
Не стали дни ни лучше, ни тревожней,
Чтоб наугад, когда-нибудь, потом,
Меня открыл рассеянный художник —

И удивился тихо, про себя,
Что верен штрих и линия не смыта,
Что, вчерчена, стою навеки я
В больших квадратах невского гранита.

1932

На берега Твоей Невы

На берега Твоей Невы
Ложится снег, сухой и белый,
И дрогнут каменные львы.
Слегка распластывая тело.

И сердце, в легкую игру

Входя, как пар летит на иней,
Как львиный камень на ветру
Оно, распластанное, стынет.

1933

Павловск

На белые ресницы маргариток
Легла роса: цвет снега и колонн.
Двенадцати аллей песчаный свиток
Разверзнут вширь. Здесь правит Аполлон.

И желтизна дворцовых стен – как осень,
Как маргариток желтенький глазок.
Нам отдых дан. Мы большего не просим.
На солнечных часах нам – выйдет срок.

Недвижен Павел, озирая службы,
Где гонг сзывает граждан на обед.
О, милый Павловск, храм нетленной дружбы
С той родиной, которой больше нет.

1934

Сфинксы

Шпионы разных государств.
Порой влюбленные в друг друга, —
Что нам названья наших царств.
Златого Рога или Буга...

Национальности скрестив.
Как меч, как редкую породу,
О, дважды Сфинкс из древних Фив,
Как ценим мы свою свободу!

И, застывая над Невой,
В глазах повторно повторимой,
В Тебе я вижу облик свой,
С Тобою несоединимый.

1934

Ты целуешь в губы жарко

Ты целуешь в губы жарко.
Обещаешь даль и дом —
Мне Нева, моя товарка.
Машет синим рукавом.

И других домов не надо:
В ночь – скамьи гранитной кант.
Над водой стоят громады
Зданий – каменных Орант.

Что любых Европ закаты?
От всего отженена.
Мне Невы гранит покатый —
Нерушимая стена.

1935

Блаженство темное мое

Блаженство темное мое.
Последний кров мой, спутник милый.
Нева, гранитный водоем,
Река моя! Моя могила!

Плащ богородицын – слегка
От ветра складки – волны – чаще...
Как назову тебя, река?
Невою. Летой. Всех Скорбящих...

Где книзу шире рукава,
Бери – песков покаты плечи —
Ты, троеручица – Нева,
В объятья, крепче человеческих:

От страшных истин бытия,
Не к лучшим дням, не к ровной славе —
Ты тихо вынесешь меня
В моря, которыми он правит...

1935

Но неужели, город, ты

Но неужели, город, ты
Одним задуман человеком? —
В цепях тяжелых спят мосты,
К своим прикованные рекам.

И много ль их (одна иль две!)
Медуз, единственных на свете? —
С Невой, Венеции в ответ,
Разгуливает в паре ветер —

И каждый невчик отдан в рост,
Как паруса, надуты воды,
С чугунным лаем сотый мост
Упрямо охраняет входы

Туда, где, меж гранитных стен —
О, полных шелеста и звона! —
С двояким Сфинксом у колен,
Теченьем правит Персефона.

1935

Когда, в тумане розоватом

Когда, в тумане розоватом
Встают такие города...
Как Достоевского когда-то.
Меня преследует вода.

И я готова, вскрикнув резко,
Бежать, стремглав, по всем мостам:
Но та, на ощупь, с тихим плеском
За мною ходит по пятам.

Вода. Литая позолота.
В зацветшей заводи, одна,
Угрюмой аркой Деламота
Она увенчана сполна.

Не ветер – вкус воды летейской.
Кто жажду странствий утолял? —
Сменяет ров Адмиралтейский
Екатерининский канал...

Еще фонарь мерцает тускло,
Но первый луч уже найдет
Русалок, возвращенных в русла...
По капелькам. Наперечет.

1935

Крюков канал

Джону Хант

Крюков, скользящий на сонмище звуков, —
Декою зданья, где оперный шум,
Подан – смычок, искривленный чуть, – Крюков,
Отплеск лагунный – но что я пишу...

Крыш отраженьем он в корне изглодан,
Он облака отплеснет к облакам, —
Или – по трубам – высокую ноту
Ветер берет, нараспев – по крюкам? —

Глубью собор, точно галька, отточен:
Волн о волну заколдованный круг,
Купол о купол – так замысел зодчий
Схвачен водою, чуть сделавшей крюк...

Это – не к Замку: многооконней
Лег на ребро здесь кирпичный пенал, —
Скачет, сидя, литовской погоней,
К скрюченным мостикам Крюков канал.

1935

Меньшиковский дворец

Покоритель ветреных сердец.
Чуть поводит – не пройдет, шалишь —
Меньшиковский розовый дворец
Насурмленными бровями крыш.

И глазастых окон пьян разбег
Сквозь тяжелый слой белил, румян...
До чего же, в наш приличный век,
Он наштукатурен, хулиган.

Разве для таких зазорных дел
Мудрый зодчий здесь его воздвиг? —
Сахарный барашек. Воск в воде.
Кавалер прекрасный. Озорник.

И не писан про него закон,
И с Невой они обручены —
А в него, поди, со всех сторон

Все четыре ветра влюблены.

1935

Наводнение

Словно мед, наполняющий соты.
Высочайшая входит вода.
Всей Невою в полеты, в пролеты,
В перелетные дуги моста.

И сирены с буксиров тревожной,
И на слитый – на пушечный – гром
Это желтое зданье Таможни
Опадает осенним листом.

И, подъявля в свинцовое небо
Куполов своих ангельский хор,
С белой чайки огромнейший слепок,
Над водою метнулся собор...

И, в подмогу, на Заячий остров
С двух колонн, от утра до утра,
Выплывают недвижные ростры
Под замолкшей командой Петра.

1935

Кунсткамера

Это – прозелень трав или ранних акаций... Фисташковой
Кунсткамера пагодой выше еще прорастет.
Разветвляются Невы потоками белых барашков.
Хворостинам-мостам любо стадо бегущее вод...

С ветром. Сбоку. Вплотную. Фасад неестественно узок.
И рогатую крышу ту вскользь повторяет река.
Над точеною башенкой – обсерваторией Брюса —
Как овчарки лохматые, мчатся вразброд облака.

Сквозь прославленный камень трава прорастает нескоро.
Мшистой зеленью стен мчится плющ, оголтелый, витой...
И, булыжное пастбище, плавно раскинулся город,
Где недвижим, на шпиле, летящий Пастух золотой.

1935

Песня

Ветер, спутник мой недобрый.
Мы шатаемся вдвоем.
Барок вспыхивают ребра
Сердцем – красным фонарем.

Ветер, крутень, друже странный,
Вихрь мой, Божья благодать, —
Вон, на Ждановке, неожиданный
Дождик можно переждать.

И, в молочных сгустках пара, —
Им и солнце нипочем —
Красноперые амбары
Понатерлись кирпичом.

Прорвой струй булыжник содран
И, во весь свой чудный рост,
Над водой, которой ведра,
Коромыслом выгнут мост:

Это Невка – вражья сила! —
За ночь стала с океан,
Проходила, выходила
За один Тучков Буян.

1935

Корабль

А. А. Линдбергу

В больших снегах – мне шалый шум листвы
Тот, городской, перебивает гомон, —
Зеленый дом на берегу Невы,
Наискосок от Пушкинского дома.

Двухцветный – двух веков зацветший сплав —
Ревенный рай, на землю он поставлен —
В больших снегах окаменевший лавр,
Зеленый лист в венке петровой славы.

Огромный дом, чудовищный корабль,
Слёт каменный петровского созыва,
На берег вынесен зеленый краб

Невой медлительной, волной отлива.
Чудесный дом, зеленая звезда

В чуть выветренном, каменном созвездьи.
Легка на стеклах льдистая слюда,
Не сладить с дверью в угловом подъезде.

А зодчий был, как Леопарди, слаб
И мягко смыт пространств глухим теченьем.
Зеленый дом, чудеснейший корабль —
Нежнейшее нам кораблекрушение...

1935

Дом Брандта

В гранитный бор чугунный врос плетень.
Мосты врезались в парные двуречья —
Кругом был город, где, изо дня в день,
Я, может быть, Вам шла навстречу.

И белый дом, как гладкий белый слон —
На обжиг солнцу белая фигурка, —
В игре с норд-остом, плавно нес балкон
На шахматную доску Петербурга.

А слева – самый длительный фасад
Омыт был всей Невы раздельным хором,
Где юность Вашу я верну назад,
Спеша, вдогонку, тем же коридором...

И, может быть, легчайший первый лед,
Как первый луч на солнечном восходе,
Мое плечо тихонько отведет
От Вашего... Мосты уже разводят.

1935

С тех пор, как я ушла по холоду и снегу

С тех пор, как я ушла по холоду и снегу
Весь город мне сполна, как палуба, открыт.
Под ветром он – корабль и вверен человеку:
На вахте Крузенштерн и день и ночь стоит.

Румян фасад дворца, где окна с поволокой.
Царь-каменщик воздвиг высокий храм Петров.

Трилистник фонаря сквозь снег пророс высоко
И тихо ждут мосты Твоих, моих шагов.

Уходит нежный год, как в монастырь – подруга,
Но много лет и дружб – кто знает? – впереди.
Я вижу над Невой тупой, бессмертный угол —
Тот дом, в который мне уже нельзя войти.

Надолго мне постыл Васильевский твой остров.
Но что я говорю: уже не Твой – ничей.
А ты... Мне мерзок Петр – отрекшийся апостол:
От града своего он не сберег ключей.

1935

Арка

В волнах пространств, неведомых земле.
Бог – мореход, курильщик в снежном дыме...
Весь город – карта на его столе —
Исчерчен небывалыми прямыми.

И перекрестки – тайный знак Его,
Кресты на двери к тем, кто принял муки
За этот град. Пусть мертв он: оттого
И улицы, как скрещенные руки.

И вывески – как строки крупных книг,
Пестрят, что крылья вспугнутых цесарок...
Прохожие увенчаны на миг
Параболами незабвенных арок.

Как имя – в святцы, входит человек
Сюда, дворцы предпочитая долам...
И движусь я, вдруг просияв навек
Огромной арки желтым ореолом.

1937

Смольный: II

Пятикратный купол крова:
Служкам-звездам аналой.
Был богат о дни Петровы
Город, смолоду смолой.

Синим льдом сверкнувший ледник.

Стен обшарпанная голь.
Служат шалые обедни
Галки, черные как смоль.

Вон, заливистой тальянкой
В нижний выманена круг,
Колоколенка – смолянка —
Тихо встала на ветру.

Свейский плес, русея, фыркал:
К флорентинцу шла река.
Богородицына стирка —
С синевою облака.

Невских волн высокий гребень,
Смольный – столпник, выше вех,
Синий с белым, словно небо
Опрокинулось на снег.

1935

Князь-Владимирский собор. II

О, каменное тело
Без хора голосов.
Пять голубей слетелось —
Пять сизых куполов.

Не колокольня – Боже! —
Венера к нам сошла.
И каждый купол сложен
Как теплых два крыла.

И, чтоб собор мой не был
Как в небе легкий дым.
Не смеет даже небо
Быть темно-голубым:

Но движется, меж лодок.
Бесцветная Нева.
Чтоб в небо или в воду
В пять крыльев, синева...

И только туч нависших
Расходуя свинец,
Дождь тупо метит в крыши —
Бессмысленный стрелец.

1936

Бегут трамваи – стадо красных серн

Бегут трамваи – стадо красных серн —
Мостов горбатых обтекая склоны.
На вахтенном, чье имя – Крузенштерн.
Срывает ветер снежные погоны.

Не палуба – булыжный лег настил.
И линиями, всех прямых прямее,
Царь-мореход свой остров прочертил,
Для нас с тобой отторгнутый у Свеи.

У каждого фонарного столба
Большой сугроб – осевший, сонный лебедь...
Голландская кирпичная труба
Подъемлет ростры, флаги помнят: реять

Я дохожу до дома твоего
У самых вод – прозрачная застава —
А Медный Шкипер с берега того
Неумолимо указывает вправо.

1937

Струится снег, как ровный белый стих

Струится снег, как ровный белый стих —
Мне трагедийный холод плечи вяжет.
И каждая из улиц городских —
Уже не улица: канал лебяжий.

В прозрачный хаос перистого льда
Случайный луч с мостов высоких брызнет.
Клянусь Петровым городом, я – та,
Кому Твой шаг дороже целой жизни.

И оттого, что здесь проходишь Ты
(Еще Овидий пел о скифском снеге),
Взошли, в снегах, альпийские цветы —
Двенадцать нежно-розовых Коллегий.

И в том, что я на это оглянусь —
Пусть мертвая! – а небо пламенеет —
Моим Петровым городом клянусь
И родинкой единственной твоею.

1937

Петропавловская крепость

I

Нам путь указывает вправо
Рука, но влево мы идем.
Собор, как лев, склоняет главы,
Сраженный золотым копьем.

Пышны снега Петрова града,
И льды сковали стык зыбей,
И не доскачет Император
До прежней крепости своей.

II

Разжав хладеющие пальцы,
Он ждал, чтоб тяжесть отлегла...
Но в те же каменные пальцы
Златая воткнута игла.

Или навстречу белым льдинам
Неся фасад бесцветный свой,
Собор застыл в разбеге львином,
Пробитый пикой золотой.

Я знаю: схваченная стужей,
Вон там, бессмертна и легка,
Как бы метнувшая оружие.
Еще протянута рука:

И, видя остров заповедный.
Минуя сводчатую гать.
С гранитных круч Охотник Медный
К добыче тщится доскакать.

III

Матерь Божья втихомолку
Уронила – славен Бог! —
Золоченую иголку

В каменный зеленый стог.

И, блажен в Отце и Сыне.
На кирпичный встал костер
Дивной ересью Трезини
Петропавловский собор.

1937

Раскрыты губы Эвридики

Раскрыты губы Эвридики,
Но голос, скошенный у губ.
Прорвался в одичалом крике
О полдень пробужденных труб.

Так, город мой. Колоколами
Не завершен Орфеев стих —
И ты раскрыт лишь в пьяном гаме
Кирпичных глоток заводских.

1936

Снега легкую корону

Снега легкую корону
Над достроенной стеной
Посрамит дворец Бирона
Мертвенной голубизной.

Ах, с Галерной, ах, с Гулярной...
Перед небом — всё одно.
Всходит день звездой полярной —
Благовещенье мое:

От Любви мимолетной,
От палящего вина
В город стройный и холодный
Это я возвращена.

1937

Академия Наук

.. И ветер, вдруг, из-под руки
Разводит узел шарфа. —

Здесь колоннада – у реки
Повешенная арфа:

Меж рваных облачных кустов,
Игрою светотени
Легли, у белых струн – столбов,
Педалями ступени.

И только струны – велики,
И, неизбежно, слева
Сирена врежется, с реки,
В Эоловы напевы.

1937

Академия Наук

Здесь воздух мягко влит в оконные квадраты.
И мелом, в восемь черт, набросан стройный план:
У спуска, где Неве разбег широкий дан,
Я вижу, за углом, колонны ствол покатый.

Здесь каждая ступень – как сброшенные латы,
И голубая кровь течет в просветы ран.
Не зданье: здесь Амур Италии крылатой
Забыл на берегу свой каменный колчан.

Булыжный говорок, асфальтов плавных речь
И цоканье торцов, глухое как th —
Гваренги слышал все, с линейкой наготове...

И начат был чертеж. И циркуль дивно лег —
Быть может для того, чтоб некий Зодчий мог
В столетии другом твои наметить брови.

1937

Лазаревское кладбище

В трофей и лавр здесь Лавра процвела.
Тредиаковский

В который раз река ломает лед.
В учебнике Петра порядок навран, —
А для меня по-прежнему цветет
Огромная, запутанная Лавра.

На белом камне или на снегу
Гниют ветвей чернеющие сети,
И в куполе – я слышать не могу! —
Свистит впустую беспризорник-ветер.

Здесь рыхлый мрамор солнце золотит,
И воробьи, крича свежо и броско,
Не знаю как – а Ломоносов спит —
Занесены на мраморную доску.

Живой себя прелестней и живей,
Всё ждет – и плечи бронзовыми стали —
Неторопливо едущих гостей
Гагарина на круглом пьедестале.

Замерзший сток кладбищенской воды.
Под аркой мост – хрустящих листьев короб,
Свободных стен высокие лады
Не оборвет командою Суворов.

Здесь с городом прощался Александр...

1937

Синеют Невы, плавно обтекая

Синеют Невы, плавно обтекая
Пустой пролет чугунного звена.
О Невки, Невский, Кронверкский, Морская,
Галерная – какие имена!..

Так дышат вольным воздухом, так даже
Не дышат вовсе, чтобы слух проник...
И каждое из них мне льдинкой ляжет
В мой смертный час на косный мой язык.

1937

Петром, Петра и о Петре

Петром, Петра и о Петре —
О, петербургские склоненья
Дубов – к прудам и трав – к забвенью.
И шпилей – к лиственной игре.

Направо, от Петра к Петру
(С Невы – до замка на Лебяжьем) —

Костями когда-нибудь мы ляжем
За это всё: блаженный труд!

О, правый город, мой, Петров,
Не всё ль равно? о, город левый! —
Как плащ с плеча Марии Девы,
Спадают Невы с островов.

Пока глаза мои горят —
В последний схвачена простудой,
Твоим петрографом я буду,
Сквозь дождь и ветер, снег и град,
Москвоотступник – Петроград!

1935

Памяти кн. В. Н. Голицына

На черном, на влажном, на гладком асфальте
В параболе арки ты вычерчен – стой! —
Еще не сказалось о Павле, о Мальте,
О мире, прочерченном красной чертой.

... А ночью, руками разбуженный грубо,
Ты бился – как окунь о первый ледок!
Какой табакеркой ударил твой Зубов
В насквозь процелованный мною висок?

Зубцами эпохи нещадно раздавлен...
Послушай, ведь с детства – я помню о том! —
Как щит, я вставала при мысли о Павле...
Не Павлу: тебе не была я щитом.

На площади ветру подарен на счастье
Гранит, отделенный дворцом от реки.
Опущены, как из невидимой пасти,
Знамен темно-алые языки.

И смутным предчувствием сковано тело,
Но скреплена дружба, Любви сильней,
Кирпичною кровью Мальтийской капеллы,
Хладеющей кровью твоей и моей.

1934–1937

Ропша Сонет

Рогожи нив разостланы убого.
С лопатами идет рабочий люд.
И елями затенена дорога.
Как будто здесь покойника везут.

Здесь ропшинцем забыт был шалый труд
Того Петра, что был нам не от Бога.
Как жесткий норд, та слава, та тревога:
Азов, Орешек, Нарва и Гангут

Сей – неизменно был доволен малым:
Слал крыс под суд, бил зеркала по залам,
Из Пруссии войска отвел назад.

Нас научил – недаром, может статья! —
Сержантов прусских на Руси бояться,
И сломан был, как пряничный солдат.

1937

Приорат

В милой Гатчине плывут туманы.
Кровь окон, готической слюдой...
Отряхают ивы над водой
Серебристые свои сутаны.

Режет воды каменною грудью
С лебединой шеей Приорат.
Росной капли блещущий карат
На листе оставлен, на безлюдьи.

Между коек, облачен, бесшумен,
Щуря глаз, как Эрос, взявший лук,
Бродит, отдыхающий от рук,
Черный кот, как призрачный игумен.

В млечном паре розовеют лица,
По тарелкам серый суп разлит, —
И за подавальщицей следит
Неотступный взгляд Императрицы.

1936

Дача Бадмаева

Там, где заря стоит в сияньи
И в ореолах крыши все.
Выходит каменное зданье
На Парголовское шоссе.

Ловя на окна свет багровый.
Ловя фасадом пыль и грязь.
Казарма с башенкой дворцовой
В глухие стены уперлась.

Я вспоминаю, без улыбки,
Кусты малины, лавр, чебрец,
Ливадии дворец негибкий
И Александровский дворец.

О, стиль второго Николая
С его бескровной белизной! —
Неопалимою сгорая
В лучах заката купиной,

Под грубый окрик штукатуров
Стал снежным кров — и глаз привык
К казарменной карикатуре
На Кремль, упершийся в тупик.

1937. Сосновка

Пряничный солдат Сонеты 1937

Сонет-акrostих

В распахнутую синь, в смятеньи голубином
Соборов и церквей взметнулись купола.
Едва струится путь – о, Волхов из стекла.
Ведущий, меж рябин, к высоким райским кринам.

Озер былинный плеск... Татарская стрела
Летит в других ли днях? за охтенским ли тыном?
О, да! и ты рожден былой России сыном:
Друг, меж тобой и мной вся родина легла.

Придет ли, наконец, великий ледоход?
Его мы оба ждем, по-разному, быть может...
Ты – переждешь легко. Тебе – двадцатый год.

Румяный встанет день, какой еще не прожит:
Оставив всех дотла, и с сердцем на лету,
Вернетесь вы к боям на Волховском мосту.

1931

1. Свиносовхоз

На холмике стоит Свиносовхоз.
Я провела там целых три недели.
Там свиньи – вы таких еще не ели!
Там поросята – как бутоны роз.

Кирпичный дом – мишень для майских гроз —
Как часовые, обступают ели —
Во все глаза глаза мои глядели:
Там худший боров лошадь перерос.

Ах, знает бойня Мясокомбината,
В каком Йоркшире эти поросята:
Уже консервы покупаю я.

Там боров Митька – что, вам правды мало? —
Отлично нес бы к Риму Ганнибала.
А если лгу я – значит, я – свинья.

1935

2. Центрархив

Ошибки былого. Зачеркнутый быт.
И только сотрудники – живы.
Здесь – мертвая тишь Центрархива.
Обломы – шкафы. Мышью время бежит.

Архивчиком был он. Внушительный вид
С четвертого принял созыва.
Веками он пух – и теперь он лежит.
Тучнейший наш Архив Архивыч.

Белее колчаковцев есть в нем листы.
И дел полицейских мундиры чисты:
Все в синие папки одеты.

Меж венских двух стульев Тынянов сидит.
Он нужные темы, как ус, теребит.
А я – нумерую сонеты.

1935

3. Усыпальница

Купались в молоке громоздкие царицы.
Чтоб снизился объем, чтоб побелела грудь.
Но, «в Бозе опочив», должно быть, в Млечный Путь
Угодно им нырять... А может ангел мыться?

Смолянки – далеко не красные девицы —
Шептались меж собой – в чем их ошибок суть? —
Что в город Бозу – рай, с дороги, завернуть:
Что в Бозе сладкий сон всем трутням вечно снится.

Огромный дортуар, где, сняв короны, спят
Цари. И мирных снов не знавший каземат.
Туристов табуны пасу я в этой «бозе».

Приемля мой рассказ в весьма неполной дозе,
Чуть слушают они, преодолевая сплин,
Как заживо людей покоил равелин.

1935

4. Иоанн Антонович

Забытыми в глуши, опальными – что время? —
Расстрелянными – им удел блаженный дан —
Бездомными – их тьмы! – ты грозно правишь всеми.
Прообраз всей Руси – несчастный Иоанн.

Мы – узники, как ты. Мы свой гражданский сан
Пятнали донельзя... вредительствами ль теми?
На тучный чернозем зароненное семя,
Мы Марксу предпочли порочный круг дворян.

Пока фарфор шел в горн и Ломоносов пел —
Один из всех ты был, царевич, не у дел:
В глухой квадрат стены твои глаза смотрели.

Мы можем говорить и думать о расстреле.
Но, горше всех других, дана нам мысль одна:
Что справится без нас огромная страна.

1935

5. Павел Петрович

Еще Суворов шел, походным будням рад.
Был чист альпийский снег – листок для русских правил.
Держался на воде, как лебедь, Приорат.
Испанию кляня, иезуит лукавил. —

Он – Первым был. И он, как вежи, троны ставил
В покоях. Вечный принц, он правил невпопад.
Во сне он муштровал запоротых солдат, —
Палач и мистик, царь и раб Господень – Павел.

История на нем мальтийский ставит крест.
Отверг он, петушась, свой гатчинский насест:
Он зодчих торопил кирпичный гроб закончить.

В короне набекрень, почти сдержав кинжал
Врагов, не по себе ль он траур надевал,
Позируя, в сердцах, для самоучки – Тончи?

1935

6. Анна Иоанновна

Упорна, в младших, к прошлому любовь.
Перебираю имена бывшие:
Екатерина, Анна, Анна вновь —
Три Парки, прядшие судьбу России.

По-царски средней бунтовала кровь:
Шли конюхам все почести людские.
В ярме опалы стерты бычьи выи
Курляндцев: так заколосилась новь...

Пал в тронном зале сумрак голубой.
Здесь ночью встретила сама с собой
И умерла Императрица Анна.

Он явлен, двух эпох великий стык,
Войной гражданской раздвоенный лик:
И тучная Россия бездыханна.

1935

7. Три Алексея

Кровавым снегом мы занесены.
И кровь избрала знаменем Расея.
Тишайшему, должно быть, были сны
О гибели второго Алексея.

Как рябь отлива, отступала Свея.
Был Петр велик, и горек хлеб страны,
И в каземате, у сырой стены,
Царевич слег, о прошлом сон лелея.

Отечество! Где сыщем в мире целом
Еще в утробе тронутых расстрелом,
Абортом остановленных детей?

Им дан в цари ребенок незабвенный,
Что Дмитрию подобен, убиенный:
Блаженный отрок, третий Алексей.

1935

8. Софья Алексеевна

Сестра в несчастьи, разве вместе с кровью
К тебе любовь изымут из меня!
Стрелецкий бунт ревел в столбах огня.
Но – Петр велик. И забывали Софью.

Москва ль не соты черному злословью!
Бразды правленья в нежный миг кляня.
Литовский всадник к славе гнал коня:
К Голицыну горела ты любовью.

Разлуки русской необъятен снег.
И монастырь тебе стал вдовый дом.
И плачем выжжены глаза сухие.

Могла б и я в тиши дожить свой век.
Горюя о Голицыне моем:
Но больше нет монастырей в России.

1935

9. Ледяной дом

С прозрачных стен уют последний сполот.
И гаснет факел в Доме Ледяном.
Как первый снег, был смех царицы молод
И сух, над коченеющим шутком.

Из всех дверей повеял смертный холод —
И вздрогнули, входившие с царем...
Со всей России лед бывшего сколот.
Ипатьевых давно проветрен дом.

Прости, Господь, и немощь Иоанна,
И Софьи скорбь, и гордый ум Петра,
И Анны блажь, и Павла крест бесовский —

За семь венцов, той мукой осиянных,
За росный дым июльского утра,
За глушь подвала, за костер Свердловска.

1935–1937

10. Сосед Господь

Du Nachbar Gott, wenn ich...

Rilke

Чистейшие да узрят сердцем Бога.
Господень взгляд – живому телу смерть.
Весь мир – лишь глаз Господних поволока.
Так как же мне в Его лицо смотреть?

И как от Лика луч найду я впредь
В своих страстях – сухих травинках стога?
Часы идут. Я подожду немного.
Есть час, в который можно умереть.

Тепло живых – в ковчег Господень двери.
Вся наша кровь – цена за откровенье.
Кратчайшую себе дав рифму: плоть.

Прости меня, что неуч в детской вере,
Проулком лжи, задворками мышленья
Я обхожу Тебя, сосед Господь.

1935

Дополнение к книге «Серебряная Рака. Стихи о Петербурге 1925–1937»

Колокол св. Сампсония

Он был подобен темной сливе
В прозрачной зелени стены.
Петровский зодчий мудро вывел
Пять арок с каждой стороны.

И ветер слушать хор улегся.
И дождь был, верно, вспрыснуть рад
Большие вязы, плиты, флоксы
И церковь – Божий вертоград.

Пусть спит Хрущев, еще не тронут —
В честь современников моих
Уж сбита тяжкая корона,
Смотри, с герба Еропкиных...

Раскрыта в сад двойная рама:
На площади (полулуной)
Чугунный Петр – хранитель храма —
Впервые пост оставил свой...

За город свой, за это зданье
Молилась я, меж слов и дел,
И, онемевший в ожиданьи,
Не снятый колокол чернел.

1937

У костюмерной мастерской

У костюмерной мастерской.
Где куклы, маски, моль в витринах,
За три квадрата от Морской
Канал идет, как черный инок.

Он неопрятен, крив и сир,
Ему бы вечно здесь трепаться,
Где банк велик и кругл, как цирк —
Арена сложных операций;

Где, тени надломив едва
В осях чугунных полукругов,
Четыре злых крылатых льва
Плюют со скуки друг на друга.

Где искони и навсегда —
Так встала Кана в Божьем слове —
Канала смешана вода
С гранитным сгустком чермной крови.

1937

Сонет

Люблю под шрифтом легшие леса.
И реки вспять, в наследство поколениям.
И землю ту: что Божья ей роса? —
Вся наша кровь ей будет удобреньем.

Моим глазам седьмые небеса.
Большая ниша всем моим молениям.
Тебя я пью — с каким сердцебиеньем! —
С тех пор, как в узел собрана коса.

Благословляю, русская земля,
Кольцо границ, что нам с тобой — петля:
Вся жизнь моя — одно с тобой свиданье.

Казнь за тебя — невелика деньга,
Но в смертный час, тащась издалека,
Я не приму тебя, как подаянье.

1937

Превыше всех меня любил

Превыше всех меня любил
Господь. Страна – мой зоркий Орлик.
Мне голос дан, чтоб голос был
До самой смерти замкнут в горле.

Элизиум теней чужих.
Куда уходят дорогие? —
Когда ты вспомнишь о своих.
Странноприимица – Россия!

Как на седьмом, живут, без слов,
На сиром галилейском небе:
На толпы делят пять хлебов
И об одеждах мечут жребий...

Но тише, помыслы мои.
Слепой, горбатой, сумасшедшей
Иль русской родилась – терпи:
Всю жизнь ты будешь только вещью.

1934–1937

Россия. Нет такого слова

Россия. Нет такого слова
На мертвом русском языке.
И всё же в гроб я лечь готова
С комком земли ее в руке.

Каких небес Мария-дева
Судьбою ведает твоей?
Как б. . . ., спяна качнувшись влево.
Ты бьешь покорных сыновей.

Не будет, не было покоя
Тому кто смел тебя понять.
Да, знаем мы, что ты такое:
Сам черт с тобой,мать!

1934–1937

Из стихотворений, посвященных Л.Л. Ракову

Ты Август мой! Тебя дала мне осень

Ты Август мой! Тебя дала мне осень.
Как яблоко богине. Берегись!
Сквозь всех снегов предательскую просинь
Воспет был Рим и камень римских риз.

Ты Цезарь мой! Но что тебе поэты!
Неверен ритм любых любовных слов:
Разбита жизнь уже второе лето
Цезурою твоих больших шагов.

И статуи с залегшей в тогах тенью.
Безглазые, как вся моя любовь.
Как в зеркале, в твоём отраженье
Живой свой облик обретают вновь.

Ручным ли зверем станет это имя
Для губ моих, забывших все слова?
Слепой Овидий – я пою о Риме,
Моя звезда взошла в созвездьи Льва!

<1935>

Не услышу твой нежный смех

Л. Ракову

Не услышу твой нежный смех —
Не дана мне такая милость.
Ты проходишь быстрее всех —
Оттого я остановилась.

Ты не думай, что это — я.
Это горлинка в небе стонет...
Высочайшая гибель моя.
Отведут ли Тебя ладони?

1935

Стой. В зеркале вижу Тебя

Стой. В зеркале вижу Тебя.
До чего Ты, послушай, высокий...
Тополя, тополя, тополя
Проросли в мои дни и строки.

Серной вспугнутой прочь несусь,
Дома сутки лежу без движенья —
И живу в корабельном лесу
Высочайших твоих отражений.

1935

К вискам приливает кровь

Л. Ракову

К вискам приливает кровь.
Всего постигаю смысл.
Кончается книга Руфь —
Начинается книга Числ.

Руки мне дай скорей.
С Тобой говорю не зря:
Кончается книга Царей.
Начинается книга Царя.

Какого вождя сломив.
В какую вступаю ширь? —
Кончается книга Юдифь.
Начинается книга Эсфирь.

Не помню, что было встарь.
Рождаюсь. Владей. Твоя.
Кончается книга Агарь —
Начинается жизнь моя.

<1935>

Тот неурочный зимний сад

Тот неурочный зимний сад
В предсмертный час мне будет сниться...
Четыре факела горят
На самой черной колеснице...

<.....>

Свет факелов, горящий между арок...
Как близко ты решился стать ко мне.
Я принимаю страшный твой подарок!

<1935>

Твой голос? Не бойся: не вздумаю я

Твой голос? Не бойся: не вздумаю я
С тобой разговаривать часто!
Как будто я – Фигнер, а голос меня
Взял и отвел в участок!

Как будто – Рылеев. Стою. На плацу.
Оплевана. Всем Петербургом.
А если ударю. Тебя. По лицу.
Как раб Преступленьем. Ликурга.

Как будто с пристрастием начат допрос.
(И дома, и в грохоте улиц
Я слышу надменный и грубый вопрос:)
Перовская? Гельфанд? Засулич?

Пуškai мне твой голос в горло удар,
Пуškai не рожу тебе сына —
Вольноотпущенник! Трус! Жандарм!
Предатель! Шпион! Мужчина!

<1935>

Никогда не бывало. Не будет. Нет

Никогда не бывало. Не будет. Нет.
Мы несказанного – не скажем.
Керамический вымысел, черный бред.
Черепок недошедшей чаши...

Я скошена быстрой походкой Твоей.
Как выстою, холодея, —
Нежней апулийских двухцветных вещей,
Мрачнее тарентских изделий.

Пыталась с Тобой разговаривать я.
О чем не посмела мечтать я! —
Должно быть, не стоит любовь моя
Простого рукопожатья...

Так молния разбивает дом.
Так падает тень на счастье.
Помедли: с Тобой, на секунду – вдвоем,
Тобой завоеванный мастер.

2 февраля 1935

Всё в жизни – от будущего тень

Всё в жизни – от будущего тень.
Под будущее – ссуда.
В извилинах времени скрыт тот день.
В который Тебя забуду.

О, выхвачу, как из ножен – меч.
Из жизни, с собой на пару,
Не выброшусь в сажень косую плеч,
Но выстою под ударом!

О локоть Твой – о, рука на мече! —
Обопрусь – пораженный вид Твой
Через жизнь понесу на своем плече,
Как через поле битвы.

На память заучивай каждый стих.
Лентяй, не узнал спросонок,
Верхом на пеолах – о, сколько их! —
Скачущих амазонок.

2 февраля 1935

Стихотворения из писем к А. И. Корсуну

Стриж

А. И. Корсуну

В косом полете, прям, отважен,
Минуя скат дворцовых крыш,
В большие залы Эрмитажа
Влетел ширококрылый стриж.

Он наскоро проверил стены,
Ворвался грудью в пейзаж
И, по знакомству, у Пуссэна
Заснул, кляня свой вояж.

Его ловили неуклонно,
Стремянкой бороздили пол, —
И с Александровской колонны
Его хранитель не сошел...

Но стриж, что куксился забавно,
Медь крыльев чуя вдалеке,
Вдруг полетел легко и плавно
С твоей руки к его руке.

16 сентября 1938

Сонет

Прекрасны камни Царского Села:
В сих раковинах – славы отзвук гулкий, —
Но если б вновь родиться я могла.
Я родилась бы снова в Петербурге.

Его оград чугунная трава.
Гранитные перевивая чурки.
Вросла мне в сердце, голубее шкурки
Песца та многократная Нева.

Ораниенбаум с прогнившей балюстрадой,
Протёрт газон еще Петрова сада...
И Павловска эпическую медь

Переживу, и Петергоф тяжелый,
Где воды свежи и где зреет жолудь —
Но в Гатчине хочу я умереть.

16 сентября 1938

Стихотворения, не включенные в сборники

Простор стихающей Невы

Простор стихающей Невы.
Я у руля, гребете – Вы.

Слова о розовой звезде.
Круги от лодки на воде.

Сказало зеркало едва.
Что под глазами синева.

Туман молочный над рекой.
Обратный путь – рука с рукой.

От белой ночи на Неве
Остались: тяжесть в голове.

Платка измятого духи
И бред, сложившийся в стихи.

1922

En automne

Осень. Вечерний ветер.
Солнечный диск высок.
Плачу, влюбленный в эти
Вздохи засохших осок.

Листья в воде Зеленой.
Мраморный водоем...
Холод румянит клены.
Холод и в сердце моем.

Смех. Силуэт. Не ты ли?
Лип шелестят верхи...
В парке твои застыли.
С прошлого года, духи.

1922

Высокий звон и говор птичий

Высокий звон и говор птичий.
Неустршимый взлет копья.
Светильником в руке Девичьей
Дрожит и тает жизнь моя.

Какая слава медью стынет.
Каким огнем мы все горим? —
Я знаю: правы те, кто ныне
Возводит свой Четвертый Рим.

Но есть плененные ошибкой:
У тех – да минет их гроза! —
С мистической полуулыбкой
На мир опущены глаза.

1925

Мне легла не большая дорога

Мне легла не большая дорога,
А глухая медвежья тропа.
Старый друг, разве мир – не берлога,
Где любовь от рожденья слепа? —

В эту жизнь я вошла с колыбели
Как в несытую солнцем тайгу;
Рыжей белкой качалась на ели.
Волчьим вырождаком стыла в снегу.

Новолунию сердилась спросонок
И мохнатой звериной судьбе.
А теперь я – ручной медвежонок
У лесничего в теплой избе.

1925

Зимой не бывает горлиц

Зимой не бывает горлиц.
И солнечных зайчиков — тоже:
Трудно им, ласковым, прыгать
В запушенные снегом окна
Спален, где топятся печи...
А я родилась зимою;
Дрожащий солнечный зайчик
По комнате вдруг забегал —
И лег на детское горло:
С тех пор я стала поэтом.

1925

Сестрам Запада

Взгляд – усталый, в лице – ни кровинки.
Ей и голод и труд – нипочем:
Вижу красные крылья косынки
За худым полудетским плечом.

Вот такую – простой комсомолкой.
Сквозь машинную, мерную песнь,
Над докучным мельканьем иголки —
Ваша жизнь мне привиделась здесь.

Сестры Запада, трудная пряжа
Многих медленных лет нам дана:
Помним, знамя кровавое ляжет
Под рукою прилежной у нас.

Слыша четкую поступь событий,
Знает – времени веретено
Приведет путеводную нитью
К дням свободы и к доле иной.

Так ловите ж, сквозь годы глухие,
В мастерских, наклонясь, не дыша,
По следам окрыленной России —
Революции пламенный шаг.

<1927>

Песня о Джанкое

Порох и пламя.
Ремень под рукой.
Шомполом в память
И в сердце – Джанкой.

Поднято дуло.
Щелкнул затвор.
Пули и бури
Ведут разговор.

Станция взмыла
Огнями из тьмы.
Врангель – а с тылу
Ударили мы.

Время качнулось
Вперед и назад.
По эшелонам
Вдогонку – залп.

Вспененных далей
Цокот и топ...
Мы ли их гнали
Под Перекоп!

Кровью цветет
Голубеющий лен

Тихих, родимых
Приволжских сторон:

Слушай, за горсть
Виноградной земли
Десять тысяч здесь
Гатью легли?

Слушай, годам таким —
Нечет иль чет,
На перевес или
На плечо?

Ветру и солнцу,
Рассыпчатый, наш,
Щедрой солонкой
Раскрылся Сиваш.

В бурных знаменах
Маковый дым —
Ты, окаймленный
Славою Крым!

<1928>

Нефтепровод

Земля, какая только лучшим снится.
Когда б могла перелистать и я
Тяжелые и рыхлые страницы
Твои, моя советская земля.

Чтоб этой кровью, с киноварью схожей
(Эпохи росчерк) – вычертить пласты,
Чтоб ты навстречу встала черной рожью —
Дыханьем влажным, гуще темноты.

Когда горят фонтаны, то телами
Их затыкают попросту, земля,
Затем, что больше нефтяное пламя,
Чем жизнь людей, совсем таких, как я.

И я отдам покой мой, память, друга ль,
Всю боль и кровь, и эти жилы все —
За ту одну, в которой жидкий уголь
От Грозного бежит до Туапсе:

Артерией – пока с восточной ленью
Не всплыл Батум, всех галек голубей;
В узде Бакинского сердцебиенья
Уж слышен грохот якорных цепей.

И пусть в стихи, негданный, как камень
В глухой затон, сбивая рифмам счет,

Павлиньими разводами, кругами.
Как на воду пошел нефтепровод:

На музыку времен – на голос горнам
Положен отзвук городов – сердец.
Чтоб этот сказ о Красном и о Черном
Нам перебил Стендаля, наконец.

Б. д.

Вернись, страна, в высокий город твой

– Вернись, страна, в высокий город твой,
Под купола кремлевской бурной славы,
На холм времен, на пласт береговой...
Но поднят щит. Укреплены заставы.

А там, в бреду, всем ветрам вручена,
В замшелый крест вложив персты сухие,
Забыв свой путь, скитается она —
Слепая. Прокаженная Россия.

1931

Приложения

Приложение 1

Запись о «вторнике» «неоклассиков», состоявшемся 16 ноября 1926 г., – единственная заметка о «Вечерах на Ждановке», сохранившаяся в архиве Л.Аверьяновой; вела ли она свои записи до того или позднее, мы не знаем. В ряду уже известных воспоминаний «неоклассиков» о Федоре Сологубе эта короткая заметка, несомненно, занимает свое место. В отличие от мемуаров В.В. Смиренского, М.В. Борисоглебского и Е.Я. Данько¹ (кого, во-первых и прежде всего, интересовала личность поэта – «последнее Федора Кузьмича»), запись Л. Аверьяновой не выделяется «сологубоцентричностью». Перед нами – своеобразный «стенографический отчет» об одном из «вторников», который показался юной поэтессе интересным и достойным запоминания. Она воспроизводит «программу» вечера без каких-либо оценок услышанного и увиденного, реплики присутствовавших и реакцию на них Сологуба, передает настроения членов кружка и их отношение к происходящему в Совдепии. Благодаря этой особенности изложения ей удастся воссоздать подлинную атмосферу «вторников» – кружка независимой творческой интеллигенции, сгруппировавшегося вокруг Сологуба в 1924–1927 гг.

Текст печ. по: *Л.И. Аверьянова-Дидерихс. Запись о «вторнике» «неоклассиков» 16 ноября 1926 г. // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2003–2004 годы. СПб., 2007. С. 555–559.*

¹ *Смиренский В.В.* Воспоминания о Федоре Сологубе / Вступ. статья, публ. и коммент. И.С. Тимченко // *Неизданный Федор Сологуб*. М., 1997. С. 395–425. *Данько Е.Я.* Воспоминания о Федоре Сологубе. Стихотворения // *Лица: Биографический альманах*. М.; СПб., 1992. Вып. 1. С. 192–261; *М.В. Борисоглебский и его воспоминания о Федоре Сологубе* // *Русская литература*. 2007. № 2. С. 88–115.

Запись о «вторнике» «неоклассиков» 16 ноября 1926 года

16 ноября 1926 <года>

Я глубоко сожалею, что недостаточно умна для словесного турнира с Ф.К. Сологубом.

Я вошла (сегодня очередной в этом «сезоне» – вторник «неоклассиков») в его тепло натопленную спальню-кабинет со старинной мебелью красного дерева и синим сукном на письменном столе. Спиной к двери, в жестковатом екатерининском кресле уже сидел М.В. Борисоглебский². Разговор шел о Булгакове: перед моим приходом М<ихаил> В<асильевич> рассказывал о напумевшей пьесе последнего «Дни Турбинных», которую М<ихаил> В<асильевич> видел в Москве и которая, по его словам, производит впечатление потрясающее³. Ф<едор> К<узьмич> слушал холодно и только заметил, что рассказы Булгакова он знает и они ему нравятся⁴, но что пьесы, которые дают 40 аншлагов и «толпа на них валит», ему обычно уже по этому одному нравиться не могут.

Когда мы на минуту остались одни, Ф<едор> К<узьмич> вдруг круто спросил: «Стихи пишете?» – «Мало». – «Напрасно, – наставительно заметил он, – надо писать много». В этот вечер он не раз возвращался к этой теме и, между прочим, рассказал, как однажды спросил его Александр Александрович (Блок), сколько у него за последний год написано стихов. «50», – наобум ответил Сологуб, на что Блок решительно произнес: «Мало».

С приходом Н.Ф. Белявского и В.В. Смиренского разговор принял другое, несколько неожиданное направление: спорили Ф<едор> К<узьмич> и я о разнице между «учителем» и «педагогом». Ф<едор> К<узьмич>, многие годы своей жизни бывший школьным учителем⁵ (я думаю, что для человека его склада и ума это должно было быть ужасно), упорно утверждал, что учителю педагогом быть незачем, для него важна методика, а не педагогика, я же уперлась на том, что «с современной точки зрения» учитель не педагогом быть не может, и даже высказала мнение, что, уже само по себе, накопление и передача знаний есть одновременно самовоспитание или воспитание человека. Последнее слово осталось, конечно, за Ф<едором> К<узьмичом>.

Е.Я. Данько, а за нею и В.П. Калицкая⁶ перевели разговор на тему о пособиях членам Союза писателей. В<ера> П<авловна> рассказала, что снова посетила Чарскую – и нашла

² Михаил Васильевич Борисоглебский (1896–1942; наст. фам. – Шаталин; репрессирован, погиб в тюрьме) – поэт, балетрист, историк балета, художник, в 1924–1927 гг. был секретарем Правления Союза писателей (ЛЮ) при Ф. Сологубе, подробнее о нем см.: М.В. Борисоглебский и его воспоминания о Федоре Сологубе. С. 88–115.

³ Пьеса М.А. Булгакова «Дни Турбиных» (1926; при жизни автора на родине не печаталась, впервые: М.: Искусство, 1955) была поставлена на сцене МХАТ Ильей Яковлевичем Судяковым (1875–1933) при участии К.С. Станиславского; премьера состоялась 5 окт. 1926 г.; постановка имела шумный успех у зрителей и принесла автору широкую известность, несмотря на разгромную кампанию в критике, обвинившей его в апологетике белого движения (см. библиографию: Сменянский А.М. Михаил Булгаков в Художественном театре. М., 1989).

⁴ До 1926 г. вышли в свет сборники рассказов М. Булгакова: «Дьяволиада» (М.: Недра, 1925), «Рассказы библиотеки "Смехач"» (Л.: Смехач, 1926), «Трактат о жилище» (М.; Л.: Земля и фабрика, 1926); его проза регулярно появлялась в московских газетах «Гудок», «Рабочая газета», «Медицинский работник» и в ленинградском «Смехаче». В личной библиотеке Сологуба книг М. Булгакова, по-видимому, не было; см.: Шаталина Н.Н. Библиотека Ф. Сологуба (Материалы к описанию) // Неизданный Федор Сологуб. М., 1997. С. 435–522.

⁵ Ф. Сологуб преподавал 25 лет, причем в течение десяти лет в провинции: в 1882–1885 гг. в Крестцах Новгородской губ. и 1885–1889 гг. в Великих луках Псковской губ. – в народных училищах, в 1889–1892 гг. в Вытегре Олонецкой губ. в учительской семинарии.

⁶ Вера Павловна Абрамова-Калицкая (в первом браке Гриневская – жена писателя А.С. Грина; 1882–1951), состояла в секции детской литературы Союза писателей; автор воспоминаний «Федор Сологуб в Вытегре», опубли. К.М. Азадовским в сб.: Неизданный Федор Сологуб. М., 1997. С. 261–289.

ее в положении ужасном⁷. У Чарской туберкулез в третьей степени, муж ее безработный и тоже туберкулезный, средств к существованию никаких. Она всё время лежит, оживляется редко, и оживление это нездоровое, нервное. Между прочим, она рассказала В<ере> П<авловне>, сколько ей платили в прежнее время – и это разом разрушило мои представления о ее «высоком авторском гонораре»: так, за «Княжну Джаваху», создавшую ей наибольшую популярность, Вольф⁸ заплатил ей – и это при продаже рукописи в собственность! – 200 рублей. И только в самое последнее время, перед войной и революцией, она стала получать 1000 р. за книгу, опять-таки при ее продаже в собственность.

В<ера> П<авловна> защищала Чарскую, уверяя, что та «непрактична», на что Сологуб едко заметил, что «практичность» здесь ни при чем. И рассказал, как однажды пришел к нему Е.В. Аничков⁹ и передал, что И.Д. Сытин дает (Ф<едору> К<узьмичу>) за «Мелкого беса»... в собственность!.. 500 рублей¹⁰. «Я, конечно, не сказал Е.В. Аничкову, что он дурак, потому что он был очень милый человек, – но при чем же здесь практичность?!»

За чаем Борисоглебский разразился совершенно необычной историей. В день праздника милиции (это было совсем на днях, кажется, числа 12-го) на углу Морской и Невского стоял важный, представительный милиционер – «тип старого городского» – и опрашивал облюбованных им прохожих – «русские они или евреи?». Человек, шедший перед поэтом Вольфом Эрлихом¹¹, оказался, к счастью своему, русским и на свой ответ услышал снисходительное: «Проходи». С Вольфом же дело приняло скверный оборот. На вопрос постового: «русский ты или жид», он ответил в первый раз: «А зачем это Вам?», во второй: «еврей». Тогда милиционер, по-видимому, вконец опьяненный своим милицейским праздником и «административным», а может быть, и «патриотическим» восторгом... дал Вольфу Эрлиху «в морду» – и при этом со всего размаха. Потом повел его в милицию, нещадно лупя всю дорогу, а приведя, обвинил Вольфа в нападении первым. Однако дело выяснилось, милиционер тут же был обезоружен и уведен, и говорят, что дело будет направлено в суд.

Другая сенсация, приготовленная нам Борисоглебским, оказалась еще кошмарнее: секретарь М<осковского> о<тделения> В<сероссийского> С<оюза> п<исателей>, беллетрист Вагин был неизвестно за что арестован и затем, также таинственно, расстрелян...¹² Ходят слухи, что он был убит во время допроса; версия такая: допрос сопровождался мордобитием, и Вагин, человек горячий, осмелился дать сдачи. За это его на месте.

⁷ Обсуждение на «вторнике» 16 нояб. 1926 г. тяжелого материального положения писательницы *Лидии Алексеевны Чарской* (наст. фам. – Чурилова; 1875–1937) побудило Сологуба написать статью о Чарской (датирована: 30 ноября 1926; текст статьи опубл. Е.Э. Путиловой, см.: Ф. Сологуб и Л. Чарская // *Русская литература*. 1995. № 4. С. 159–168, с публикацией писем). Ср.: «Калицкая, которая в ослеплении перед гением Федора Кузьмича и в уверенности, что его гениальность непреложна для всех на свете, потащила в прошлом году статью Сологуба о Чарской, где он восхваляет Чарскую и называет ее чуть ли не великой писательницей-революционеркой (я не преувеличиваю), прямо к Сейфуллиной – с просьбой напечатать эту статью в "Звезде", в уверенности, что Сейфуллина с руками оторвет это гениальное произведение» (*Данько Е.Я.* Воспоминания о Федоре Сологубе. Стихотворения. С. 197; см. также: *Данько Е.* О читателях Чарской // *Звезда*. 1934. № 3).

⁸ Имеется в виду роман Л. Чарской «Княжна Джаваху» (1903), купленный издательством товарищества *Вольф* (основано Маврикием Осиповичем Вольфом; 1825–1883).

⁹ *Евгений Васильевич Аничков* (1866–1937) – историк литературы, критик, прозаик.

¹⁰ *Иван Дмитриевич Сытин* (1851–1934) – книготорговец, владелец издательства, основанного в 1883 г.; Сологуб пытался договориться с ним об издании «Мелкого беса» (см. об этом в письме Сологуба к Г. Чулкову от 18 янв. 1907: РГБ. Ф. 371. Карт. 4. Ед. хр. 76. Л. 17).

¹¹ *Вольф Иосифович Эрлих* (1902–1937; репрессирован) – поэт, член Ленинградского отделения Всероссийского союза поэтов с 1924 г. Инцидент произошел 12 ноября в день празднования девятой годовщины рабоче-крестьянской милиции, по этому случаю на площади Урицкого (с 1923 по 1944 гг. так называлась Дворцовая пл.) был устроен парад.

¹² Имеется в виду беллетрист *Петр Вагин* (наст. имя.: Петр Иванович Карамышев; 1877–1926?) – автор сборников «У порога. Рассказы» (М., 1922), «Бессмертие. Сказки» (М., 1922), «Лезна. 16 диалогов с обрамлениями» (М., 1925).

Воцарилось молчание. Кто-то тихо произнес: «Страшные вещи творятся кругом». «Я знаю еще два случая», – выговорила я со сжимающимся горлом. Меня просили рассказать. И я рассказала о «двойной гибели» так, как слышала это от мужа¹³.

В годы военного коммунизма был арестован известный теннисист Аленицын: в ЧК – теперь это называется иначе – он повесился на шнурках от сапог. Весть эта достигла А.Л. Рафаловича, также теннисиста. Рафалович был возмущен: «как мог совершить такой поступок молодой, здоровый человек, при этом спортсмен»... Рафалович был экономистом. Без всякой задней мысли давал он сведения экономического характера за границу. Полгода спустя после гибели Аленицына он также был арестован – и в той же тюрьме повесился на подтяжках¹⁴.

«Повесили», – мрачно сказал Сологуб. Я подумала, что и у моего мужа была эта мысль...

Помню еще, как муж мой рассказывал об аресте теннисистки Натальи Алексеевны Сувориной: она служила в одном учреждении, где могла доставать белые газеты¹⁵. Однажды она дала их почитать Бруно Шпигелю – известному и сейчас теннисисту¹⁶. У того был обыск; нашли газеты; и он показал на Н.А. Суворину... Ее арестовали. Из тюрьмы она так и не вышла, умерла от дизентерии...

Е.Я. Данько поразила меня вестью о том, что еще в прошлом году сослан в Уральск Виталий Бианки¹⁷. Оказывается, он был когда-то эсером и даже в белой армии, но имел по возвращении сюда покровительство Лилиной¹⁸ и ее честное слово, что с ним ничего не случится. Теперь, однако, Лилину «убрали», а с нею и старые грехи ее «протезе». В. Бианки находится в ужасных для интеллигентного человека условиях: без книг, без правильно входящих писем. «Черта оседлости» оторвала его от природы, а ему, зоологу, писавшему из личной практики все «звериные» и «лесные» истории в отделе детских журналов, это невыносимо – тяжело. В<ера> Н<иколаевна> приехала сюда¹⁹, чтобы иметь возможность посылать ему книги: никакие письменные ходатайства в учреждениях, с которыми он был связан, не действовали.

¹³ Ф.Ф. Дидерихс участвовал в велосипедных гонках и соревнованиях по лаун-теннису; 7 августа 1925 г. Аверьянова писала Смиренскому: «Дидерихс выиграл теннисный "матч" в Тярлеве, здоров <...>» (РО ИРЛИ. Ф. 582 – Вл. В. Смиренского).

¹⁴ Александр Аполлонович Аленицын (18837–1922) – один из сильнейших теннисистов России в первой четверти XX в.; «... один из кумиров дореволюционного лаун-тенниса. В конце сентября 1922 года он был арестован по ложному обвинению в шпионаже. Его нервы не выдержали этого потрясения, и он повесился в тюремной камере в ночь на 5 октября 1922 года в Петрограде. Александру было всего 39 лет» (Фоменко Б.И. История лаун-тенниса в России. М., 2000. С. 54), см. также о нем: Российский теннис. Энциклопедия / Сост. Б. Фоменко. М., 1999. С. 11. Алексей Л. Рафалович (погиб в 1923?) – экономист, в 1911 и 1912 гг. входил в десятку лучших теннисистов России (упоминается в статье «Классификация сильнейших теннисистов России» в кн. «Российский теннис. Энциклопедия», с. 79); кандидат в члены Руководящего комитета ВСЛТК – Всероссийского союза лаун-теннисных клубов (портрет А. Рафаловича см.: Фоменко Б.И. История лаун-тенниса в России. С. 24).

¹⁵ Наталья Алексеевна Суворина (1902?–1921) – дочь А.А. Суворина, внучка А.С. Суворина, скончалась в тюремной больнице. Об аресте Н.А. Сувориной вспоминал А.В. Амфитеатров в кн.: «Горестные заметы» (Берлин, 1922), см.: С. 14–15. Следует отметить, что дядя арестованной, Борис Алексеевич Суворин (1879–1940, с 1918 в эмиграции) был видным деятелем русского тенниса, одним из основателей (вместе с А.Д. Макферсоном) КЛТК – «Крестовский лаун-теннисный клуб» (1894) и ВСЛТК (1908) и устройтелем первого матча между российскими и английскими теннисистами (подробнее о нем см.: Российский теннис. Энциклопедия. С. 87).

¹⁶ Бруно Альфредович Шпигель (1897–1940) – теннисист, тренер, член «Петроградского кружка любителей спорта» и затем «Парголовогo общества любителей лаун-тенниса».

¹⁷ Виталий Валентинович Бианки (1894–1959) – детский писатель-анималист, в январе 1926 г. был сослан в Уральск, в 1928 г. в Новгородскую область, освобожден из ссылки в 1929 г.

¹⁸ Злата Ионовна Лилина (урожд. Бернштейн; 1882–1929) – первая жена Г.Е. Зиновьева, в 1920–1924 гг. возглавляла Петроградский Губсоцвос, зав. Отделом учебников Главсоцвоса при московском Госиздате РСФСР; в 1924–1926 гг. – зав. Ленгубоно.

¹⁹ Вера Николаевна Бианки (урожд. Ключева; 1894–1972) – жена писателя.

Во время чая вошел Ю.Н. Верховский²⁰. Его пышная шевелюра и густая черная борода – сильно «поповская» внешность, и только не по-священнически умное лицо ее спасает – разом разрушили мое воображаемое представление об его облике. Перешли в кабинет. Доклада, в собственном смысле этого слова, не было; помню немногие мысли Верховского: «поэзия Ломоносова, параллельная Елисаветинскому стилю в архитектуре, раскрывается нам во всей полноте только тогда, когда мы ее мысленно свяжем со стилем этой эпохи». Это очень хорошо, очень верно.

Потом Борисоглебский вернулся к своему «коньку» – «Дням Турбиных». Он сказал пламенную речь, любопытным местом которой явился рассказ о том, как Блюм (из Главреперткома) ни за что не хотел разрешить эту пьесу²¹ и, чтобы добиться своего, согнал на закрытый просмотр до 1000 коммунистов, из которых половина была – женщины-делегатки в красных платочках; и как, не успев просмотреть и трех картин, вся эта публика ревела и обтирала слезящиеся морды!.. Блюм был в отчаянии, но пьеса всё же была разрешена к постановке, хотя Совнарком ограничил ее существование только 1 сезоном и только в Московском Художественном театре²², на всю Россию...

Верховский, разбирая формы современного искусства, заметил, что «большой формой» для драматургии явится мелодрама, к которой она сейчас приближается. Сологуб возразил, цитируя успех «Дней Турбинных», что «большой формой, пожалуй, явится историческая хроника, наподобие шекспировой». Он связывал свое предположение еще вот с чем: «придрался» к словам Борисоглебского, что «Дни Турбинных», безусловно, не смогут быть так же глубоко воспринятыми зрителями, не перенесшими нашей революции, как нами, ее перенесшими, и оттого произведение, могущее «устареть», не является высокохудожественным... по форме же и трактовке сюжета «Дни Турбинных» представляются ему именно исторической хроникой – и ничем иным. А если публику привлекает не историчность, а «общность переживаний» с рампой и только-то. грош ей, пьесе, цена.

На этом ставлю точку, оттого что всё переврала и спать хочу смертельно.

²⁰ Юрий Никандрович Верховский (1878–1956) – поэт, переводчик, историк литературы, в 1920-е гг. входил в ближайший круг Ф. Сологуба. См.: Письма Ю.Н. Верховского к Ф. Сологубу и Ан. Н. Чеботаревской / Публ. Т.В. Мисникевич // Русская литература. 2003. № 2. С. 121–140.

²¹ Владимир Иванович Блюм (1877–1941; псевд. – Садко) – театальный и музыкальный критик, редактор журналов «Вестник театра» (1919–1921), «Новый зритель» (1924–1926), сотрудник «Жизни искусства»; один из деятелей Реперткома, о сопротивлении Блюма прохождению в МХАТ «Дней Турбинных» см. примеч. в книге: М.А. Булгаков. Пьесы 1920-х годов. Л., 1989. С. 522, 530.

²² Пьеса М.А. Булгакова «Дни Турбиных» за первый сезон 1926 / 27 г. в Московском Художественном Театре прошла 108 раз; снята в апреле 1929 г., возобновлена в феврале 1932 г., поскольку пользовалась исключительной любовью Генерального Секретаря ЦК ВКП(б).

Приложение 2

Деятельность Л.И. Аверьяновой в качестве переводчицы Интуриста и Ленинградского отделения ВОКС'а – Всесоюзного Общества культурной связи с заграницей (основано в 1925 г.) до настоящего времени не изучена, хотя, несомненно, заслуживает пристального внимания. Работа с зарубежными гостями занимала в ее жизни важное место и продолжительное время – в общей сложности около десяти лет (1927–1936). Думается, что анализ документов как самого ВОКС'а, так и связанных с его деятельностью структур, за период занятости поэтессы в этой организации, помог бы прояснить неизвестные или всё еще остающиеся загадочными стороны ее биографии. Подобное исследование – задача будущего, и, тем не менее, мы сочли целесообразным воспользоваться несколькими документами архива ВОКС'а в качестве иллюстрации профессиональной жизни Л. Аверьяновой и характеристики круга ее общения. В частности, немалый интерес представляет циркуляр о посещаемых объектах и лицах, их курирующих. Приводим сведения из циркуляра, составленного уполномоченным ВОКС'а М.А. Орловым от 17 окт<ября> 1936 г. на имя Заведующей Секретной Частью ВОКС'а тов. Куресар:

«<...> ставлю Вас в известность о положении дела в отношении советских работников, которые при посещении наших объектов показывали иностранцам их принимают и беседуют на местах. <...> Сопровождают иностранцев и присутствуют при беседах гиды Института или сотрудница ВОКС тов. Выговская М.И. Кроме того, обращаю Ваше внимание на то, что на всякого обслуживаемого Лен. Отделением ВОКС иностранца составляется формуляр с точным указанием фамилии, имени, профессии, страны, города-местожительства, откуда прибыл, даты прибытия, где остановился, когда и куда выехал и точного изложения программы его пребывания, с кем, где и когда виделся и беседовал. Оригинал этого формуляра регулярно высылается т. Тепляковой и из них можно также черпать конкретные данные. с кем, когда обслуживаемые нами иностранцы беседовали».²³

В документе выделены группы: 1) Академики, 2) Профессора, 3) Архитекторы, 4) Режиссеры. В последней рубрике перечислены также писатели, художники, научные сотрудники, директор Публичной библиотеки и т. п. Общий список занимает 2,5 страницы, 44 пункта, в которых означены имена ответственных лиц, с адресами и телефонами. В частности, в списке значатся:

Академики: Самойлович Александр Николаевич – Институт Востоковедения АН, Орбели Леон Абгарович – Всесоюзный Институт Медицины и Физиологический Институт АН, Орбели Иосиф Абгарович – Директор Государственного Эрмитажа, иранист, Иоффе Абрам Федорович – Физико-Технический Институт, Мещанинов Иван Иванович – Директор Института Антропологии и Этнографии АН, Державин Николай Севастьянович – Отдел общественных наук АН, Вавилов Николай Иванович – Всесоюзный Институт Растениеводства, Всесоюзная С / Х академия им. Ленина, Вавилов Сергей Иванович – Государственный Оптический Институт;

Профессора: Самойлович Рудольф Лазаревич – Директор Всесоюзного Арктического Института, Ундриевич Вацлав Станиславович – Директор Института Советского права, Бродский Исаак Израилевич – Директор Академии Художеств, Радлов Николай Эрнестович – Академия Художеств и Зам. Председателя Союза Художников, Никольский Александр Сергеевич – Председатель Союза Архитекторов, Ильин Лев Григорьевич – Главный архитектор Ленинграда;

²³ ЦГАЛИ СПб. Ф. 4. Оп. 1. Ед. хр. 15.

Творческая интеллигенция: Радлов Сергей Эрнестович – Директор Государственной Драмы, Державин Константин Николаевич – Помощник Начальника Комитета Искусств, Брянцев Александр Александрович – Директор ТЮЗ'а, Гринфельд Натан Яковлевич – Директор Театра Оперы и балета им. Кирова, Ваганова Агриппина Яковлевна – народная артистка, Кацнельсон Леонид Григорьевич – Директор Ленфильма, Иохельсон Владимир Ефимович – секретарь Союза Композиторов, Тихонов Николай Семенович – Председатель Союза Писателей, Толстой Алексей Николаевич, Федин Константин Александрович, Чуковский Корней Иванович, Петров-Водкин Кузьма Сергеевич, Пахомов Александр Федорович, Васильев Борис Александрович (китаист), проф. Мушкетов Дмитрий Иванович (геолог) – Директор Горного Института, Шамсонов Семен Михайлович (испанист), Вольпер Александр Христофорович – Директор Публичной библиотеки, Селиванов Владимир Иванович – Ученый секретарь Государственной Академии Материальной Культуры.

Далее в инструкции следует «Список советских работников по обслуживанию иностранцев на объектах».

В публикацию вошли отчеты сотрудников ВОКС'а, связанные с пребыванием в Ленинграде американской журналистки Э. Эванс, гидом которой была Л. Аверьянова. По нашим предположениям, эта история каким-то образом сказалась на дальнейшей судьбе переводчицы, – фактически обслуживание Эванс стало ее последней или одной из ее последних работ в ВОКС'е, после чего она, по всей вероятности, была уволена (ее имя в документах Ленинградского отделения ВОКС после 1936 г. не встречается).

Краткие сведения о зарубежной гостье: Эрнестина Эванс (1889–1967; Ernestine Evans) – журналистка, редактор, литературный агент; была замужем (в 1935 г. развелась) за Кеннетом Дюраном (1889–1972; Kenneth Durant) – журналистом, главой американского отделения советского информационного агентства ТАСС (1923–1944). Отчеты секретных служб, опубликованные в Англии в 2005 г. (данные из Wikipedia), сообщают, что Эванс переехала в Англию в 1925 г., после того как Дюран был выдворен из США из-за связей с различными подставными коммунистическими организациями. В качестве журналистки Эванс часто выезжала за границу. В очерках для ежеквартального литературного журнала «Virginia Quarterly Review» она подробно описывала свои путешествия по Европе и СССР, сочетая политические обзоры с художественной критикой. В 1929 г. в Нью-Йорке у нее вышла книга о творчестве Диего Риверы – первая англоязычная монография о художнике.

В связи с публикацией материалов уместно привести фрагмент из дневника Александра Яковлевича Аросева (1890–1938; расстрелян; в 1927–1928 гг. полпред СССР в Литве, в 1929–1933 гг. полпред в Чехословакии; в 1934–1937 гг. председатель ВОКС), – запись от 5 сентября 1936 г.: «На службе много работы и много игры. Теперь ко мне приходят все, и каждый друг на друга доносит».²⁴

Отчеты о пребывании Э. Эванс в Ленинграде осенью 1936 г. печ. по: ЦГАЛИ СПб. Ф. 4. Оп. 1. Д. 15 (Отчеты и переписка с ВОКС'ом о пребывании иностранцев в Советском Союзе. 31 июля – 17 дек. 1936 г.). Л. 57–63.

²⁴ Два взгляда из-за рубежа: Переводы. М., 1990. С. 119–120; см. также: Куликова Г.Б. Пребывание в СССР иностранных писателей в 1920–1930-х гг. // Отечественная история. № 4 / 2003. С. 43–59.

Из отчетов и переписки ВОКС'а

<1>

<Отчет Л. Аверьяновой>

С 5 / XII по 7 / XII 1936 г., по просьбе леди Мюриель Пэджет. я сопровождала американскую туристку Эрнестину ЭВАНС, журналистку, проживающую на квартире леди Пэджет. Красная ул. № 65. Эта туристка жаловалась на недостаточное обслуживание со стороны ЛПВОКС,²⁵ куда она обратилась с просьбой устроить ей 1) посещ^ение пьесы «Салют, Испания»²⁶ 5 / XII (исполнено), 2) Институт Народов Севера²⁷ (7 / XII исполнено) и 3) фабрики и заводы, не входившие в компетенцию ВОКС'а, о чем она знала заранее.

Кроме того, в дальнейшем, ЭВАНС требовала еще показа ей «Дома Художественного Воспитания Детей», но удалось установить, что она о таком желании в ВОКС даже и не заявляла, хотя имела возможность это сделать своевременно.

ЭВАНС высказывала большое недовольство сотрудницей ЛПВОКС Марией Ивановной Выговской, жалуясь на ее плохое знание англ<ийского> языка и на нежелание устраивать какие-либо показы без ведома т. Вильм.²⁸ ЭВАНС рассказала сама, что отказалась говорить с Выговской и считала себя вправе вести разговор подобным тоном, в частности будучи вполне уверена, что как бы она ни вела себя в советском учреждении, советская власть никогда не посмеет отказать ей в визе на следующий приезд в СССР, который намечен на весну или осень 1937 г.

Относительно М.И. Выговской ЭВАНС еще высказалась, что ее неспособность и злостное нежелание что-либо сделать для иностр<анных> туристов заставляет считать, что Марии Ивановне В<ыговской> протезирует директор ВОКС т. Орлов, креатурой которого она является, либо Выговская имеет влиятельных родственников-коммунистов, которые и устроили ее на работу в ВОКС, для чего она непригодна.

О письме, полученном из московского ВОКС'а на имя ЭВАНС с извинениями за конфликт с ЛПВОКС в прошлом году, по поводу той же Выговской, Эванс заявила, что письмо московского ВОКС'а состояло из «самых низких и подбострастных выражений» (object apologies), но что Выговская, вопреки ожиданиям ЭВАНС, с работы снята не была.

Переводчица Лидия Аверьянова

<2>

<Приложение к отчету Аверьяновой>

[Секретно]

²⁵ Ленинградское Правление Всесоюзного Общества культурной связи с заграницей.

²⁶ Героико-романтическая пьеса А. Афиногенова «Салют, Испания!» (1936) – отклик на события гражданской войны в Испании; с осени 1936 г. шла в театрах страны. В Ленинграде премьера спектакля состоялась 23 нояб. 1936 г. в Театре драмы им. Пушкина (режиссеры – Сергей Радлов и Николай Петров, автор музыки – Дмитрий Шостакович, художник – Николай Акимов; в роли Матери – Екатерина Корчагина-Александровская), спектакль имел оглушительный успех.

²⁷ Институт народов Севера им. Н.Г. Смидовича в Ленинграде (1930–1941) – высшее учебное заведение, основанное для подготовки педагогических и научных кадров для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; возник из преобразованного Северного факультета, располагавшегося в здании бывшей Духовной академии на Обводном канале, 7. В 1930 г. факультет был реорганизован в самостоятельный Институт народов Севера (ИНС).

²⁸ Ада Васильевна Вильм — Заместитель Уполномоченного ВОКСа в Ленинграде.

9 декабря
№ 252

Председателю Всесоюзного Общества
Культурной Связи с границей
тов. АРОСЕВУ А.Я.

Копия: Уполномоченному НКВД в Ленинграде
тов. ВАЙНШТЕЙН Г.И.

Дорогой Александр Яковлевич.

Хочу поставить Вас в известность о возмутительно наглом поведении некой американской корреспондентки Эрнестины ЭВАНС, живущей в Финляндии и приехавшей в СССР в Ленинград на несколько дней.

Эрнестина ЭВАНС приезжает не впервые. В 1935 г. она была в Ленинграде с 24 по 30-ое октября и уже тогда себя вела вызывающе. Она не просит ей то или иное устроить для посещения, а требует – нагло крича.

В этот свой приезд она остановилась в Английской Миссии у лэди Мюриэль ПЭДЖЭТ <так!>, и уже в этот раз они обе позволили себе более чем не корректное поведение, они просто были наглы.

Прилагаемые в копии 2 заявления тов. ОВЕРКО и тов. ВЫГОВСКОЙ – полностью воспроизводят их манеру держать себя. Интерес также представляет и отчет переводчицы АВЕРИЯНОВОЙ <так!>, работавшей с ЭВАНС. Прошу обратить ваше внимание в отчете АВЕРИЯНОВОЙ на ссылку ЭВАНС на какое-то «извинительное» письмо ВОКС'а по поводу ее протеста и жалобы в 1935 г. на тов. Выговскую, жалобу, которую, с ее слов, она якобы послала в Москву в 1935 г.

Во-первых, должен сказать, что мне ничего не известно о ее жалобе ВОКС'у (если она была), ни об ответе ВОКС'а ей.

Уверен, что если бы и то и другое имело место, то Правление ВОКС'а меня поставило бы в известность, так как это касалось обслуживания в Ленинграде и нашего сотрудника. Прошу дать распоряжение всё же это заявление ЭВАНС в части ее претензий в 1935 г. проверить и, если была какая-либо переписка, то выслать мне копиями. Ее претензии к тов. ВЫГОВСКОЙ совершенно неосновательны, так как ей всё было устроено, что было возможно в 1935 году.

Считал бы желательным иметь возможность указать и ПЭДЖЭТ, что тон, который она себе позволяет последнее время, совершенно неприемлем, но ПЭДЖЭТ сегодня до Марта-Апреля уезжает в Англию, и, может быть, Вы нашли бы уместным поставить в известность о поведении ПЭДЖЭТ тов. Майского,²⁹ который просит ее и ее гостей обслуживать, и который, наверное, найдет «дипломатический» метод ей объяснить недопустимость ее тона.

Как только Ада Васильевна узнала о телефонном звонке ПЭДЖЭТ, тоне ее разговора, она немедленно поставила в известность тов. ВАЙНШТЕЙНА (НКВД)³⁰ и, конечно, ПЭДЖЭТ не звонила.

По согласованию с НКВД, для ЭВАНС на 5 / XII было устроено присутствие на спектакле «Салют Испании» <так!> и на 7-ое декабря посещение Института Народов Севера, но

²⁹ В. Майский (Иван Михайлович Майский; наст. имя и фам.: Ян Ляховецкий; 1884–1975) – историк, публицист, академик АН СССР (1946); дипломат; на дипломатической работе с 1922 г.; в 1929–1932 гг. – полпред в Финляндии; в 1932–1943 гг. – посол в Великобритании. В феврале 1953 г. Майский был арестован и исключен из состава членов Академии наук СССР, обвинен по ст. 58 УК РСФСР; во время допроса с истязаниями, который вел Л. Берия, «признал» себя английским шпионом (см.: *Бережков В.М.* Как я стал переводчиком Сталина. М., 1993. С. 360–362); в 1955 г. реабилитирован, восстановлен в рядах членов Академии наук. См.: *Майский И.М.* Воспоминания советского дипломата. 1925–1945 гг. М.: Наука, 1971.

³⁰ НКВД – Народный комиссариат по иностранным делам (1917–1946), с 1946-МИД СССР.

всё это было сделано, кончено, после того, как она 5-го к концу дня прислала корректное письмо, прося ей устроить вышеупомянутое.

7-го она выехала обратно в Финляндию.

Хорошо бы о выше изложенном поставить в известность и тов. АСМУСА,³¹ нашего полпреда в Финляндии, принимая во внимание, что и ЭВАНС живет в Финляндии.

С товарищеским приветом

Уполномоченный ВОКС'а

Орлов

ПРИЛОЖЕНИЕ: на 3-х листах

А.В.

3 экз.

1 – Председ<ателю> ВОКС'а т. Аросеву

1 – Уполном<оченному> НКВД в Л-де – т. Вайнштейн

1 – дело

<3>

Уполномоченному ВОКС'а

Тов. ОРЛОВУ М. А.

Довожу до Вашего сведения, что 5 / XII в ВОКС зашла американка, журналистка и писательница Эрнестина Эванс – гостя леди Педжет Она требовала быть немедленно принятой т. Вильм. Но тов. Вильм в это время в ВОКС'е не было и я ей сказала, что она занята Болгарской делегацией и что я могу передать т. Вильм то, что она желает. Гр-ка ЭВАНС дерзко ответила, что со мной она не желает говорить, что я всё равно ей ничего не устрою, что в прошлом году ей тоже ничего не показали, продержали ее полдня в ВОКС'е, много обещали и ничего не устроили.

В данном случае она лжет, так как в Октябре прошлого года ей было устроено посещение Радио-Центра, она была принята Вами и только не удалось устроить беседу с тов. Эдельстоном из Массового Отдела Ленсовета.

³¹ Эрик Адольфович Асмус (1901–1937) – в 1935–1937 гг. полпред в Финляндии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.